

Генрик Сенкевич

Пан Володыевский



Трилогия

Генрик Сенкевич

Пан Володыевский

«Public Domain»

1888

Сенкевич Г.

Пан Володыевский / Г. Сенкевич — «Public Domain»,
1888 — (Трилогия)

«После окончания войны с венграми и состоявшегося вскоре венчания пана Андрея Кмицица с Александрой Билевич все ждали еще одной свадьбы: рыцарь не менее доблестный и знаменитый, полковник лауданской хоругви пан Юрий Михаил Володыевский намеревался жениться на Анне Борзобогатой-Красенской. Однако свадьба эта волею судеб откладывалась. Панна Борзобогатая была воспитанницей княгини Вишневецкой и без ее благословения не решалась на такой серьезный шаг. Времена стояли беспокойные, поэтому пан Михаил, оставив девушку в Водокгах, один отправился в Замостье за благословением княгини...»

Содержание

Пролог	5
Часть первая	6
Глава I	6
Глава II	11
Глава III	14
Глава IV	19
Глава V	22
Глава VI	29
Глава VII	37
Глава VIII	43
Глава IX	48
Глава X	55
Глава XI	60
Глава XII	67
Глава XIII	72
Глава XIV	76
Глава XV	79
Глава XVI	84
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Генрик Сенкевич

Пан Володыевский

Пролог

После окончания войны с венграми и состоявшегося вскоре венчания пана Андрея Кмицица с Александрой Биллевич все ждали еще одной свадьбы: рыцарь не менее доблестный и знаменитый, полковник лауданской хоругви пан Юрий Михаил Володыевский намеревался жениться на Анне Борзобогатой-Красенской.

Однако свадьба эта волею судеб откладывалась. Панна Борзобогатая была воспитанницей княгини Вишневецкой и без ее благословения не решалась на такой серьезный шаг. Времена стояли беспокойные, поэтому пан Михаил, оставив девушку в Водокгах, один отправился в Замостье за благословением княгини.

Но княгини он не застал. Желая дать образование и воспитание сыну, она уехала в Вену, к императорскому двору.

Володыевский отправился вслед за ней, хотя поездка эта была ему и некстати. Уладив дело, он возвратился домой, исполненный надежд. Но дома застал волнения и смуту: солдаты вступали в союзы, на Украине не было мира, да и на востоке пожар не унимался. Для защиты границы собирали новое войско.

Еще по пути в Варшаву гонцы вручили пану Михаилу письмо с приказом от русского воеводы. Ставя благо отчизны выше собственного счастья, он отложил свадьбу и уехал на Украину. Несколько лет провел он вдали от родных мест в огне, опасности и воинских трудах, не всегда имея возможность послать хотя бы весточку истомившейся невесте.

Потом его направили для переговоров в Крым, а скоро вслед за тем началась война с Любомирским, в которой пан Михаил сражался против этого забывшего стыд и совесть вельможи на стороне короля, и наконец под водительством Собеского снова двинул свой полк на Украину. Слава его росла, его называли «первым воином Речи Посполитой», но жизнь его проходила в тоске, во вздохах и ожидании.

Только в 1668 году, получив по распоряжению пана каштеляна отпуск, он в начале лета поехал за невестой в Водокты, чтобы оттуда повезти ее в Краков.

Княгиня Гризельда к тому времени уже вернулась из Вены и, желая быть посаженной матерью невесты, приглашала у себя отпраздновать свадьбу.

Молодые супруги Андрей и Оленька остались в Водокгах и на время забыли о Михаиле, тем более что все мысли их были о новом, госте, появления которого они ожидали. До сей поры Бог не послал им детей; но теперь должна была наступить долгожданная и столь милая их сердцу перемена.

Год выдался на редкость урожайный, хлеба были такие обильные, что сараи и овины не могли вместить зерна, и на полях, куда ни глянь, виднелись скирды высотой чуть не до неба. По всем окрестностям поднялся молодой лесок, да так быстро, как прежде, бывало, не вырастая и за несколько лет. В лесах полно было грибов и всякого зверя, в реках – рыбы. Щедрое плодородие земли передавалось всему живому.

Друзья Володыевского говорили, что это добрый знак, и предсказывали ему близкую свадьбу, но судьба решила иначе.

Часть первая

Глава I

Однажды, в чудный осенний день, пан Андрей Кмициц сидел в тени беседы и, попивая послеобеденный мед, поглядывал сквозь обвитые хмелем прутья на жену, которая прогуливалась в саду по чисто выметенной дорожке.

Она была женщиной удивительной красоты, светловолосая, с кротким, как у ангела, лицом. Исполненная покоя и умиротворения, она ступала медленно и осторожно.

Было заметно, что Андрей Кмициц влюблен в жену, словно юноша. Он глядел на нее преданными глазами, словно пес на хозяина. При этом он то и дело улыбался и подкручивал усы и каждый раз на лице его появлялось выражение бесшабашной удали. Видно было, что малый он лихой и в холостяцкие лады покуролесил немала.

Тишину сада нарушали лишь стук падающих на землю спелых плодов да жужжание пчел. Было начало сентября. *Солнечные* лучи, не такие жаркие, как прежде, освещали все вокруг мягким золотым светом. В этом золоте среди матовой листвы поблескивали красные яблоки в таком изобилии, что казалось, деревья усыпаны ими сверху донизу. Ветки слив прогибались под плодами, покрытыми сизым налетом. Первые предательские нити паутины на ветках чуй. вздрагивали *т* дуновения ветерка, такого легкого, что в саду не шелохнулся ни один лист.

Должно быть, дивная эта погода наполняла сердце пана Кмицица радостью, потому что лицо его светлело все больше и больше. Наконец он отпил еще глоток меда и сказал жене:

– Оленька, подойди сюда! Я тебе что-то скажу. – Лишь бы не то, что мне и слушать не хочется.

– Клянусь Господом, нет! Ну, иди, я скажу на ушко.

С этими словами он обнял жену, коснувшись усами ее белого лица, и прошептал:

– Если родится сын, Михаилом назовем.

Она опустила глаза, смущенно покраснела и, в свою очередь, шепнула:

– Но ведь ты же на Гераклиуша согласился.

– Видишь ли, в честь Володыевского.

– А почему не в память деда?

– Моего благодетеля. Гм! И правда. Но второй-то уж будет Михаил! Непременно!

Тут Оленька встала и хотела было высвободиться из объятий пана Андрея, но он еще сильнее прижал ее к груди и стал целовать ей глаза, губы, повторяя при этом:

– Ах ты, моя рыбка, любушка моя, радость ненаглядная!

Дальнейшую их беседу прервал слуга, который бежал издали прямо к беседке.

– Что скажешь? – спросил пан Кмициц, отпуская жену.

– Пан Харлампы приехали и изволят в доме дожидаться, – отвечал слуга.

– А вот и он сам! – воскликнул Кмициц, увидев почтенного мужа, приближавшегося к беседке. – О Боже, как у него усы поседели! Здравствуй, старый друг и товарищ, здравствуй, брат!

Сказав это, он выскочил из беседки и с распростертыми объятиями бросился навстречу пану Харлампу.

Но пан Харлампы сперва склонился в низком поклоне перед Оленькой, которую в прежние времена нередко встречал в Кейданах, при дворе виленского князя-воеводы, приложился своими пышными усами к ее ручке и только потом обнял Кмицица и, припав головой к его плечу, зарыдал.

– Боже милосердный, что это с вами? – воскликнул удивленный хозяин.

– Одному Господь послал счастье, у другого отнял. Только вам я и могу поведать мое горе.

Тут Харламп бросил взгляд на жену пана Андрея, и она, догадавшись, что при ней он не решается заговорить, сказала мужу:

– Я велю прислать еще меду, а пока оставлю вас одних.

Кмициц повел пана Харлампа за собой в беседку и, посадив на скамью, воскликнул:

– Что случилось? Не могу ли я чем-нибудь помочь тебе? Располагай мною, как другом!

– Со мной ничего не случилось, – отвечал старый солдат, – и мне не надо никакой помощи, пока я в состоянии владеть вот этой рукой и саблей, но друг наш, достойнейший кавалер во всей Речи Посполитой, находится в страшном горе, так что я не знаю, жив ли он.

– Господи Иисусе! Неужели что-нибудь случилось с Володыевским?

– Да! – отвечает Харламп, рыдая. – Анна Борзобогатая приказала вам долго жить.

– Умерла! – крикнул Кмициц, хватаясь обеими руками за голову.

– Как птица, сраженная стрелой.

Настала минута молчания. Только падающие яблоки с деревьев нарушали тишину, ударяясь о землю то там, то сям. Харламп, удерживаясь от слез, все громче сопел. Между тем Кмициц повторял, ломая руки и качая головой:

– Боже мой! Боже мой! Боже мой!

– Вы не удивляйтесь, что я плачу, – проговорил наконец Харламп, – если у вас при одном известии об этом несчастье так страшно сжимается сердце, то каково же мне, который смотрел на ее кончину и на его мучительное отчаяние.

В это время пришел слуга с кувшином и стаканами на подносе, а за ним пришла и жена Андрея, которая не могла побороть в себе любопытство послушать, что будет говорить Харламп. Взглянув в лицо мужа и прочтя на нем глубокую скорбь, она живо спросила.

– Что случилось? Не скрывайте от меня. Если что худое, то я буду ободрять вас, насколько возможно, поплачу вместе с вами или что-нибудь посоветую.

– Нет, и твой совет бесполезен в этом случае, – отвечал Кмициц. – К тому же я боюсь, как бы тебя не опечалило это известие.

– О, не беспокойся. Гораздо хуже мучиться неизвестностью.

– Ануся умерла, – с грустью произнес Кмициц.

Александра слегка побледнела и тяжело опустилась на скамейку. Кмициц ожидал, что она упадет в обморок, но, видно, сожаление взяло верх над неожиданностью известия, и она начала плакать, вторя обоим рыцарям.

– Саша, – сказал наконец Кмициц, желая направить ее мысль на другой предмет. – Неужели ты думаешь, что она не в раю?

– Не о ней я сожалею и плачу, но о том, что она осиротила Володыевского; что же касается ее вечного блаженства, то я столько же уверена в нем, сколько желала бы и себе. Не было достойнейшей, добрейшей и честнейшей девицы, чем она... Ах, моя Анечка, моя милая Анечка!

– Я видел ее смерть, – сказал Харламп, – и дай Бог каждому умереть с таким благочестием, как умерла она.

Наступило молчание, и когда слезы понемногу облегчили их горе, Кмициц отозвался:

– Ну, расскажите же, как *все* это случилось, и в самых трогательных местах своего рассказа заливайте горе медом.

– Спасибо, – сказал Харламп, – я буду пить, потому что горе сжимает мое сердце и, как волк, хватается за горло, а если уж раз оно схватит, то может совсем задушить, пока кто не подоспеет на помощь. Дело было вот как. Я ехал домой из Ченстохова, чтобы на старости лет отдохнуть, поселившись у себя в деревне. Довольно с меня этой войны ведь я еще подростком начал воевать. Впрочем, если обстоятельства сложатся неблагоприятно, то я снова примкну

к какому-нибудь отряду. В сущности, война чрезвычайно опротивела мне; благодаря всем этим вооруженным союзам и междоусобицам, служившим только потехой для неприятеля и гибелью для отечества, я совсем поседел: Это напоминает мне слова Свицерского: пеликан кормит кровью своих детей! Но ведь и крови не хватает уже для отечества!

– Ах, милая моя Ануся! – прервала, плача, жена Кмицица. – Что было бы со мной, и со всеми нами, если бы не ты, моя дорогая! Ты одна была нашей защитницей, нашим убежищем и подспорьем, золотая моя!

После непродолжительного молчания, Кмициц снова спросил.

– Ну, а где же вы встретили Володыевского?

– Я встретил его вместе с нею в Ченстохове. Он мне сейчас же сказал, что едет с невестой в Краков, к княгине Гризельде Вишневецкой, с целью получить ее благословение, без которого молодая девушка ни за что не хотела венчаться. Красенская была еще тогда здорова, а он беззаботен, как птица. Вот, говорит, Господь наградил меня за мои труды. Уж и кичился же он этой наградой, – утешь его, Господи! И как подсмеивался надо мной, просто беда, потому что мы, видите ли, повздорили когда-то из-за нее и хотели драться.

– Где-то она, бедная, теперь.

– Ты говоришь, что она была здорова! Как же это с ней так сразу случилось?

– Действительно неожиданно. Она жила тогда у жены Мартына Замойского, которая в это время с мужем была в Ченстохове. Володыевский просиживал у нее целые дни и часто жаловался на проволочку, говоря, что они за целый год не доедут до Кракова, если их будут везде задерживать по пути. И не удивительно! Такого солдата, как Володыевский, каждый рад угостить, и кто уж раз поймает его, тот и держит. Меня он также водил к своей невесте; и часто, смеясь, угрожал изрубить меня в котлету, если я осмелюсь влюбиться в нее. Но ей было не до меня: она только и видела его. Смотря на них, мне делалось действительно тошно, в особенности когда я думал, что под старость я остался один, точно гвоздь в стене. Однажды ночью ко мне вбежал Володыевский и в страшном отчаянии воскликнул: «Бога ради! Не знаешь ли ты какого-нибудь доктора?» – «Что случилось?» – спрашиваю я. – «Да больная меня даже не узнает!» – «Какая больная?» – «Да Ануся!» – «Когда же она захворала?» Говорит, что его самого только что известили, и он сам еще не знает когда. Конечно, дело ночное!.. Где тут найти доктора, если мы сами в монастыре, а в городе больше трупов, чем людей. Однако, хотя с большим трудом, я отыскал какого-то фельдшера, который не хотел было идти, но я заставил его силою, и он пошел со мной. Но тут уже нужен был не фельдшер, а священник, которого мы и застали там: уважаемый отец Паулин привел ее в сознание своими молитвами, так что она смогла приобщиться святых тайн и попроситься с Михаилом. На другой день, после полудня, ее не стало. Фельдшер утверждал, что ее отравили, но я не верю этому. Ах, если бы вы видели, что было с Володыевским! Что он говорил!.. Да простит его Иисус Христос и не поставит ему этого в вину, потому что человек в отчаянии не может подыскивать подходящих слов. Да, я должен вам сказать. При этом Харлампович понизил голос и почти шепотом прибавил:

– Ведь он в беспамятстве богохульствовал и роптал на Бога, как язычник!..

– Неужели? – удивился Кмициц.

– Да. Он вышел в сени, а из сеней на двор да и начал валяться, как пьяный, по земле, и кричать: «Так вот какая мне награда за мои труды, за кровь и любовь к отечеству!» Одна, говорит, была у меня утеха, и ту отнял Ты у меня. Господь! Отнять у вооруженного человека женщину – дело, говорит. Божье, но задушить ее, как невинного голубя, может только дьявол!..

– Тсс!.. – прервала его жена Кмицица. – Не произносите его имя и не накликайте несчастья на наш дом!

Харлампович перекрестился.

– Думал бедный солдат, что дослужился награды, а тут вот тебе какая награда. Но Бог лучше знает, что делает, и не нам судить о его делах своим слабым умом. Вслед за этим он

встал, потом опять упал на землю и начал богохульствовать. Священник вынужден был прочитать над ним молитву, чтобы Господь удалил от него злого духа и простил ему прегрешения.

– Ну, а скоро ли он пришел в себя?

– Около часу пролежал на земле, как мертвый, а потом, когда пришел в себя, вернулся в свою квартиру и никого не принимал. На похоронах я сказал ему: «Миша, молись и не забывай Бога!» Но он все молчал. Потом я еще три дня пробыл в Ченстохове, так как мне не хотелось уезжать оттуда, не повидавшись с ним; но напрасно я стучал в дверь: он не отпер ее. Я призадумался, не зная, что делать. Как, думал я, оставить человека без всякой помощи и ободрения? Однако, убедившись, что ничего из этого не выйдет, я решил поехать к Скшетускому. Он ведь лучший его друг, как и Заглоба; может быть, они как-нибудь уломают его, в особенности Заглоба: тот лучше меня сумеет уговорить.

– Ну, и вы были у Скшетуских?

– Был, но и тут мне не повезло, он и Заглоба уехали в Калиш, к Станиславу Скшетускому, и никто не мог сказать, когда они вернутся. Тогда я подумал, что все равно мне надо ехать в Жмудь, поэтому заеду к вам и расскажу, что случилось.

– Я всегда считал тебя добрым приятелем и благодарю тебя за память, – с чувством отвечал Кмициц.

– Не обо мне тут речь, а о Володыевском, – возразил Харлам, – и я, признаюсь, ужасно боюсь, чтобы этот бедняга не спятил с ума.

– Господь спасет его от этого, – отвечала жена Кмицица.

– Если и спасет, то лишь для того, чтоб он сделался монахом. Я никогда не видал подобной скорби. А жаль, он был славный солдат, очень жаль!

– Почему жаль? Ведь если он пойдет в монастырь, то этим только умножит число воинов Христа, – возразила Александра.

Харлам зашевелил усами и начал тереть лоб.

– Вот видите ли, сударыня, – сказал он, – может быть, умножит, а может быть, и не умножит. Посчитайте-ка вы, сколько он истребил неверных еретиков в своей жизни и этим наверняка больше угодил Спасителю и его пресвятой Матери, чем какой-нибудь ксендз своими проповедями! Гм!.. Есть над чем призадуматься! По-моему, пусть лучше каждый старается угодить Богу по своим силам, как может, а не с принуждения. Довольно и без него иезуитов, а меча такого, каков его меч, едва ли можно найти во всей Речи Посполитой.

– Вот это правда, ей-Богу, правда, – подтвердил Кмициц. – Что же он теперь, остался в Ченстохове или уехал?

– Он там был, когда я уезжал, а что случилось после моего отъезда, я не знаю. Знаю только, что с ним приключилась беда или болезнь, которая часто идет бок о бок с отчаянием, и что он остался один как перст, без всякой помощи, без родных, знакомых или приятелей.

– Да охранит тебя Пресвятая Дева от всякого зла, мой верный друг! – внезапно воскликнул Кмициц. – Друг, который мне сделал добра больше брата!

Жена Кмицица сильно призадумалась, и все молчали; наконец она подняла свою русую головку и живо сказала:

– Андруша, помнишь ли, чем мы ему обязаны?

– Как можно забыть!.. Ведь не собачьи же у меня глаза! Иначе я не мог бы взглянуть на этого честного человека!

– В таком случае ты не должен его оставить в этом положении.

– Как так?

– Поезжай к нему.

– Вот удивительное сердце, вот достойная женщина! – крикнул Харлам, хватая ее руки и покрывая их поцелуями.

Но Кмицицу, по-видимому, не понравился совет жены, и он отрицательно покачал головой.

– Я бы поехал к нему на край света, – сказал он, – но... ты сама знаешь, я не могу. Если бы ты еще была здорова – дело другое. Сохрани Бог вдруг какое-нибудь несчастье, испуг, о, тогда бы я умер от беспокойства. Жена мне ближе, чем первый друг. Мне жаль Михаила... но... ты сама знаешь.

– Да ведь я останусь здесь под защитой ляуданских стариков. Теперь здесь тихо, да я и не такая пугливая. Без Божьей воли не упадет волос с моей головы, а там, может быть, Михаил и впрямь нуждается в помощи.

– Ой, и как еще нуждается! – вмешался Харлампу.

– Слышишь, Андриюша, я здорова. Никто меня не обидит. Я знаю, что тебе не хочется уезжать.

– Я бы охотнее пошел сражаться с кочергой против пушек. – перебил Кмициц.

– Неужели ты думаешь, что если ты не поедешь, то тебе не будет горько вспомнить о покинутом друге! Поверь, что за это и Господь не пошлет нам своего благословения.

– Ты всегда права. Я боюсь лишиться этого благословения, – отвечал Кмициц.

– Спасти такого друга, как Михаил, это твоя священная обязанность.

– Я люблю Михаила всем сердцем. И если нужно ехать, то ехать сейчас же, потому что каждый час дорог. Сейчас пойду в конюшню, и. Но, Господи Боже мой! Неужели нельзя ничего другого сделать!.. И зачем это они поехали в Калиш!.. Ведь я не о себе забочусь, моя бесценная. Я бы лучше согласился потерять все свое состояние, чем прожить хоть один день без тебя. Если бы мне кто сказал, что я могу оставить тебя ради дружбы, то я бы ему саблю воткнул в горло. Ты говоришь: моя священная обязанность? Пусть будет так, и дурак тот, кто раздумывает, но если бы это был не Михаил, а кто-нибудь другой, то я бы ни за что не поехал!.. Пойдемте в конюшни, – прибавил он Харлампу, – и осмотрим лошадей! А ты сама прикажи уложить мои вещи. Пан Харлампу! Погости у нас недельки две; присмотришь за молотьюбой, и за моей женой. А может быть, найдется и у нас поблизости какая-нибудь аренда. Возьмите хоть Любичи. Но пойдемте. Через час я буду готов. Надо – значит надо.

Глава II

Еще до заката солнца Кмициц отправился в путь; плачущая жена вручила ему на прощанье крест с частицей священного дерева в золотой оправе. Привыкший с Детства к неожиданным походам, Кмициц выехал из дому и полетел, словно вихрь или погонщик за татарами, которые убегали с добычей.

Проезжая через Луков, он узнал, что Скшетуский с детьми и Заглобой день тому назад вернулись из Калиша, поэтому он решил заехать к ним, посоветоваться о средствах для спасения Володыевского. Он был принят с радостью, которая, однако, тотчас превратилась в слезы: Кмициц объявил им о цели своего путешествия.

Заглоба целый день не мог успокоиться и, сидя у пруда, так горько плакал, что, – как он потом рассказывал, – вода в пруду поднялась и нужно было открыть шлюзы. Наконец, наплававшись вволю, он глубоко призадумался и в конце концов посоветовал следующее:

– Ян не может ехать, потому что он выбран «каптуровым» судьей. И так как после войны явилось много недовольных, то и процессов будет немало. Судя по тому, что говорит Кмициц, можно заключить, что аисты останутся на зиму в Водоктах, так как их вписали в рабочий инвентарь и обложили работами. А имея такое хозяйство, как ваше, вам трудно предпринять длинное путешествие, тем более что вы не знаете, надолго ли оно. Вы уже доказали свое расположение, выехав из дому, но советую вам от души вернуться назад, потому что там нужен закаленный человек, который бы не обращал внимания на то, что его будут бранить и не захотят видеть. В этом случае нужно много опытности и терпения, а у вас есть только одна привязанность, которой далеко не достаточно для Михаила. Надеюсь, вы не сердитесь, поверьте, что мы с Яном стариннейшие его приятели и много всего перевидали. О, если бы вы знали, сколько раз я его и он меня спасали от всяких опасностей!

– А нельзя ли мне отказаться от судейства, – перебил Скшетуский.

– Что вы, это ведь общественная обязанность! – возразил Заглоба.

– Господь свидетель, – продолжал опечаленный Скшетуский, – что я люблю своего двоюродного брата Станислава, но Михаил мне дороже брата.

– А мне он дороже родного, тем более что его у меня никогда не было. Однако не время спорить о чувствах. Будем говорить о деле... если бы это несчастье случилось с Михаилом недавно, то я бы тебе сказал: брось все и поезжай! А так как после этого прошло немало времени, то тебе незачем ехать. Рассчитай, сколько прошло дней, пока Харлампов съездил в Жмудь, а Андрей из Жмуди к нам... Ввиду этого теперь следует ехать не тебе, а мне, чтобы уговорить его, развеселить и утешить забавными рассказами, больше некому ехать, как только мне, и я поеду. Если я застаю его в Ченстохове, то привезу сюда, а если не застаю, то поеду за ним, хоть бы он уехал на край света, и буду его искать до последнего издыхания, когда окажусь не в состоянии поднести к носу щепотки табаку.

Оба воина стали обнимать Заглобу, который до того расчувствовался, думая о несчастье Михаила и о своей поездке, что даже прослезился. Однако ему скоро надоели излишества друзей, и он сказал:

– Пожалуйста, вы не благодарите меня за Михаила, потому что вы ему ничуть не ближе меня.

– Мы благодарим вас не за Володыевского, – возразил Кмициц, – а за ваше доброе сердце. Какие мы были бы люди, если б не оценили вашей готовности принять на себя ради дружбы такое путешествие и беспокойство, в ваши лета. Другой в ваши годы только и думает о теплой лежанке, между тем как вы, словно юноша, готовы на все.

Хотя Заглоба не скрывал своих лет, но вообще не любил, когда ему напоминали о старости как о спутнице беспомощности; поэтому он с неудовольствием взглянул на Кмищица и живо возразил:

– Милостивый государь! Когда мне пошел семьдесят седьмой год, то мне было так тошно, как будто бы надо мной висел дамоклов меч, но зато, когда мне минуло восемьдесят, то я так был бодр, что еще жениться думал. Интересно знать, кто из нас мог бы первый похвастаться чем-нибудь особенным?

– Я не хвалю себя, но для вас не пожалел бы никаких похвал.

– И я наверняка победил бы вас, как некогда победил гетмана Потоцкого в присутствии короля. Он тоже стал делать мне разные замечания по поводу моих лет, и я тогда же предложил ему: попробовать, кто из нас может больше раз перекувыркнуться. И что же вышло? Он кувыркнулся раза два-три и растянулся; лакеи подхватили его, потому что сам он и встать не мог. А я так кругом перемахнул раз тридцать пять. Спросите вот у Скшетуского. он сам это видел.

Скшетуский знал, что Заглоба привык всегда ссылаться на него как на очевидца своих подвигов, и поэтому даже глазом не моргнул и продолжал говорить о Володыевском. Между тем Заглоба погрузился в молчание и глубоко о чем-то задумался. После сытного ужина он повеселел немного и обратился к товарищам.

– Знаете ли, что я скажу вам? Я полагаю, что наш Михаил легче перенесет этот удар, чем сначала могло показаться.

– Дай Бог! Но почему вы так думаете? – спросил Кмищиц.

– Гм!.. Чтоб понять это, надо иметь много природной сообразительности и большой опытности, которой у вас нет, и поэтому вы не можете понять Михаила. У каждого человека есть свои особенности. Иной так встречает всякие несчастья, как будто, выражаясь фигурно, он бросает в реку камень. В это время кажется, что вода пишет себе потихоньку, а между тем камень, лежа уже на дне, задерживает естественное ее течение, он мешая и препятствует ей до тех пор, пока она не снесет его в глубину. Тебя, Ян, можно причислить к таким людям, но им живется хуже, потому что они больше страдают. Есть и такие, которые относятся к своему несчастью так, как будто кто его ударил кулаком по спине. Сразу он как бы опечалится, а потом, когда пройдет боль, он совсем забудет о том. Такому человеку хорошо жить на свете.

Оба воина внимательно, слушали умные речи Заглобы, и последний, довольный, что его слушают, продолжал.

– Я прекрасно знаю Михаила, и Бог свидетель – не хочу его осуждать, но мне кажется, что ему больше жаль расстроившейся свадьбы, чем этой девушки. Это ничего не значит, что он впал в такое страшное состояние, это несчастье для него выше всех других несчастий, потому что в нем нет ни жадности, ни гордости, ни корыстолюбия; он так же легко относился к утрате имущества, как и к приобретению его, он никогда не добивался никакой награды, но за все свои труды, за все заслуги ждал и от Бога, и от Речи Посполитой жены. И он был уверен в душе, что ему достанется этот хлеб, но в то время, когда он хотел взять его в рот, у него вдруг как будто кто-то вырвал кусок и сказал: «На-ка вот! Съешь!..» Поэтому неудивительно, что он в таком отчаянии. Разумеется, я не хочу сказать этим, что ему действительно не жалко девушки, но ей-Богу, ему больше жаль женитьбы, хотя он и сам, быть может, готов присягнуть, что это неправда.

– Дай Боже! – сказал Скшетуский.

– Подождите! Пусть только его душевные раны заживут и покроются новой кожей, как вы увидите, что у него появятся все прежние желания. Вся опасность состоит в том, чтобы он, в припадке отчаяния, не сделал себе чего-нибудь или не дал такого обета, о котором потом и сам будет жалеть. Но что должно было случиться, то уже случилось, потому что в отчаянии

человек быстро решается на все. Все это говорю я не потому, что мне не хочется ехать, а лишь потому, чтобы ободрить вас. Вон, мой человек уже укладывает мои вещи. Значит, скоро в путь.

– Опять вы станете целительным пластырем для Михаила! – сказал Скшетуский.

– Так же, как я был и для тебя. Помнишь? Только бы мне его скорее найти. Я боюсь, чтоб он не спрятался в какой-нибудь пустыне или не пропал в степях, к которым он привык смолоду. Вы, господин Кмициц, заметили насчет моих лет, но я вам скажу, что если я стану тащиться, как какая-нибудь баба с кувшином молока, то заставьте меня, когда я вернусь назад щипать корни, лущить горох или дайте мне прялку. Меня ничто не может задержать: ни неудобства, ни гостеприимство, ни еда, ни питье. О, вы еще не знаете меня, я и теперь уже не могу усидеть, словно меня кто-нибудь колет шилом из-под лавки. Я уже велел вымазать себе дорожную рубаху козлиным салом, в предохранение от всяких насекомых. Вот я какой!.. А то лета. При чем тут лета!..

Глава III

Однако Заглоба не так скоро ехал, как обещал себе и товарищам. Подъезжая к Варшаве, он ехал все медленнее. Это было время, когда король Ян Казимир, усмирив беспорядки и освободив Речь Посполитую как бы от потопа, отказался от короны. Он подавил все нападения внешних врагов, но когда предпринял внутренние реформы, то, вместо помощи, встретил лишь сопротивление народа; ввиду этого он добровольно снял с головы корону, которая стала для него невыносимой.

Все маленькие сеймики и большие сеймы уже кончились, и примас Пражмовский уже назначил новое собрание на 5 ноября. Разные партии враждовали между собою, и хотя все недоразумения должны были решиться только при выборе короля, однако все сознавали, какое важное значение имел для всех сейм. Послы от всех обществ ехали в Варшаву в экипажах и верхом, с челядью и прислугой; туда же стремились и сенаторы, сопровождаемые множеством дворян.

Дороги были запружены, гостиницы заняты так, что трудно было найти себе ночлег. Хотя все уступали место Заглобе из уважения к его преклонным летам, но в то же время его известность заставляла его терять много времени. Заедет он, бывало, в какой-нибудь кабак, а там так полно, что и яблоку негде упасть; сановник, который занял его со своим двором, выйдет полюбопытствовать, кто приехал, и при виде старца с белыми, как молоко, усами и бородой, почтительно пригласит;

– Милости просим пожаловать в горницу закусить, чем Бог послал.

Заглоба был вежлив и никогда не отказывался от приглашения; он знал, что каждому будет приятно познакомиться с ним. И когда хозяин, пропустив его в дверь, спрашивая. «Кого имею честь видеть?», он величественно подбоченивался и отвечал в двух словах.

– Заглоба sum!¹

Никогда не случалось, чтобы после этого объявления ему не раскрывали объятия и не восклицали:

– А! Это счастливейший день в моей жизни.

Вслед за этим гостеприимный хозяин обращался к дворне или товарищам и говорил:

– Смотрите, господа, вот образец лучших рыцарей всей Речи Посполитой.

Все обыкновенно с удивлением смотрели на Заглобу, а молодежь целовала полы его дорожного платья; после этого вынимались разные выпивки и закуски, и начинался пир, продолжавшийся иногда несколько дней. Все думали, что он едет в качестве посла на сейм, но когда Заглоба опровергал их мнение, то все обыкновенно удивлялись, почему он не посол. Он объяснял, что уступил свое право Домашевскому, «чтобы и молодежь привыкала участвовать в решении общественных дел». Только немногим он открывая истинную цель своей поездки, а некоторым на все распросы отвечал приблизительно следующее:

– Я так привык с детства к войне, что и на старости лет захотел потягаться с Дорошенкой.

После этого все еще с большим удивлением смотрели на него. Всякий ценил Заглобу, даже узнав, что он ехал не в качестве посла: ведь простой наблюдатель бывает иногда гораздо важнее. Впрочем, каждый сенатор рассчитывал на то, что месяца через два начнутся элекции (общие собрания), когда всякое слово такого знаменитого воина будет иметь громадный успех. Все, даже самые знатные вельможи, кланялись и обнимали Заглобу. Подляский пан три дня поил его, а господа Пацы, которых он встретил в Калушине, даже носили его на руках.

¹ Я – Заглоба (лат.).

Часто случалось, что паны приказывали своим слугам укладывать потихоньку в повозку Заглобы вина, водки и даже более ценные подарки, как, например, богато отделанные сабли и пистолеты.

Хорошо было и слугам Заглобы, но сам он, вопреки решению и обещанию, ехал до того медленно, что только через три недели прибыл в Минск.

Но зато он не остановился в Минске. Выехав на рынок, он увидел многочисленную дворню, какой еще нигде не встречал по пути: там были разодетые дворяне и пехота, без которой нельзя было ехать на сейм, и хоть она была не вооружена, но зато такая стройная, что даже шведский король мог позавидовать ей: она была стройнее его гвардии. Там же стояла масса вызолоченных повозок с обоями и коврами, которые везли для обивки комнат в корчмах и постоянных дворах, множество возов с посудой и провизией; но вся почти дворня состояла из иностранцев, говоривших на непонятном для него языке.

Наконец Заглоба заметил одного человека, одетого по-польски, и остановился; будучи уверен, что его хорошо примут, он спустил одну ногу из повозки и спросил.

– Чья это такая стройная дворня?.

– Чьей же ей быть, как не князя – конюшего литовского, – отвечал дворянин.

– Кого? – повторил Заглоба.

– Вы глухи, что ли? Князя Богуслава Радзивилла, который едет на голосование и – Бог даст – после элекции будет электором².

Заглоба быстро спрятал ногу в повозку.

– Поезжай! – крикнул он вознице. – Здесь нам нечего делать.

И он уехал, трясясь от негодования.

– Великий Боже! – говорил он – Непонятны для нас Твои дела, и если Ты не сразишь громом этого изменника, то разве только потому, что скрываешь свои намерения, которых мы не можем постичь; судя с человеческой точки зрения стоило бы порядком наказать этого разбойника. Но плохо же, как видно, обстоят дела в Речи Посполитой если такие перебежчики без стыда и чести едут себе безнаказанно, да еще исполняют общественные функции. Видно, нам суждено погибнуть, потому что ни в какой стране, ни в каком государстве не может случиться ничего подобного. Да! Чересчур уж был добр король Ян Казимир, все прощал и этим приучил всякого верить в безнаказанность. Впрочем, не один он тому причиной. Ясно, что и в народе притупились всякие понятия о совести и добродетели. Тьфу! Тьфу!.. Он посол! Ему вручают попечение о целостности и невредимости отечества – ему, бесчестному и опозоренному, в его руки, которыми он это же отечество терзал и заковывал в шведские цепи. Нет, видно настал час нашей гибели!.. И его же прочат в короли!.. Впрочем, как видно, все возможно в таком государстве. Но странно, какой же он посол?.. Ведь в законе довольно ясно сказано, что состоящие на иностранной службе не могут быть послами, а ведь он исправляет должность главного губернатора княжества Пруссии у своего дядьки. Ну, погоди же. Попадешься ты у меня. «А ну-ка, удалить его с сейма!» – скажут ему... Но если я не пойду в залу заседания и не возьмусь за это дело, хотя бы как частное лицо, то пусть я сейчас же сделаюсь бараном, а мой возница – моим коновалом. Найдутся такие послы, которые поддержат меня. Не знаю, удастся ли мне удалить этого влиятельного изменника из посольства, но что я поврежу ему на элекции – это так же верно, как я – Заглоба. Бедный Михаил. Теперь ему придется подождать меня ради доброго общественного дела.

Так раздумывал Заглоба, твердо решившись хлопотать и частным образом склонять послов к удалению Радзивилла. Ввиду этого он поспешил в Варшаву, чтобы не опоздать к открытию конвокационного сейма³.

² Т. е. лицом, непосредственно участвующим в выборах короля.

³ Конвокационный сейм созывался в Речи Посполитой 16–18 вв. после смерти или отречения короля для поддержания

Заглоба приехал довольно рано, но всевозможные послы и прочие приезжие до того переполнили все гостиницы и частные дома, что некуда было пристроиться ни в Варшаве, ни на Праге, ни даже за городом. В одной комнате помещалось по несколько человек. Первую ночь Заглоба провел у одного торговца, некоего Фукера, до того весело и приятно, что, протрезвившись на следующий день на своей плетеной повозке, не знал хорошенько, что ему делать.

– Боже! Боже! – восклицал он, осматривая Краковское предместье, по которому проезжал. – Вот Бернардинский монастырь, а вот и развалины замка Казановских. Неблагодарный город! Отнимая его у неприятеля, я проливал за него свою кровь и пот, а он жалеет теперь угла для меня, его защитника.

Но город однако не жалел угла, а просто его не было. Однако счастье не покидало Заглобу, и только что он подъехал к замку Конецпольских, как вдруг чей-то голос крикнул вознице:

– Стой!

Тот остановил лошадей; в ту же минуту к Заглобе подошел какой-то незнакомый господин с веселым лицом и, кланяясь, воскликнул:

– А господин Заглоба! Что, не узнаете меня?

Заглоба посмотрел на мужчину лет тридцати в рысьей шапке с пером, свидетельствовавшим о беспорочной службе, ярком жупане и темно-красном кунтуше, подпоясанном золоченым кушаком. Незнакомец был очень красив собою. Бледный цвет лица, тронутого легким загаром, голубые глаза с выражением задумчивости и грусти и правильные черты чрезвычайно шли к его остальной фигуре. Несмотря на польскую одежду, у него были длинные волосы и подстриженная на заграничный манер борода. Подойдя к повозке, он раскрыл свои объятия, и Заглоба обнял его за шею, хотя и не помнил, кто он.

Они сердечно целовались, отодвигаясь по временам друг от друга, чтобы получше присмотреться; наконец Заглоба сказал:

– Извините, пожалуйста, но до сих пор я не могу припомнить.

– Гасслинг-Кетлинг!

– Боже мой! Лицо как будто знакомое, но в этом платье вас не узнать; вы раньше носили кавалерийскую куртку. Так вы уже по-польски одеваетесь!

– Потому что я считаю Речь Посполитую своей матерью, которая приютила меня, бездомного горемыку, приласкала и накормила. Вы знаете, что я получил право гражданства после войны.

– Это приятное известие. Значит, вам посчастливилось.

– Да, как в этом, так и в другом. Я встретил на жмудской границе, в Курляндии, своего однофамильца, который усыновил меня, приписал к своему гербу и дал состояние. Он живет в Курляндии, но у него есть имения и по эту сторону. Одно из них, имение Шкуды, он записал на меня.

– Пошли вам Бог счастья. Так значит, вы бросили военную службу?

– Да, но явлюсь непременно на войну, когда надо будет. Поэтому-то я и отдал в аренду свое имение, а сам ожидаю здесь.

– Вот это по-рыцарски! Вот что значит горячая кровь. Точь-в-точь, как я в молодости. Правду сказать, что и теперь не вода течет в моих жилах. Что же вы в Варшаве подельваете?

– Я избран послом на избирательный сейм.

– О, Господи! Так вы уже по форме поляк!

Молодой воин улыбнулся.

– Я поляк душою, а это гораздо важнее.

– Вы женаты?

Кетлинг вздохнул.

– Нет.

– Этого вам только и недостает. Но неужели у вас не прошла прежняя страсть к Биллевич?

– Коли тебе и это, сударь, ведомо, а я полагал, что это моя тайна, так знай, нет у меня пока другого предмета для вздыханий.

– Опомнись, братец! Она вот-вот нового Кмицица нам подарит. Опомнись! Неблагодарное это занятие вздыхать по той, что давным-давно в мире и согласии с другим поживает. Сказать по правде, это смешно.

Кетлинг, вознес грустные очи к небу.

– Я сказал лишь, что пока другого предмета нету!

– Ну это уже полбеда! Женим мы тебя. Вот увидишь! По собственному опыту знаю, что в любви излишнее постоянство одни неприятности сулит. И я в свое время был постоянен, как Троил, а уж как настрадался, сколько добрых партий упустил!

– Дай Бог каждому такой бодрости в столь преклонные годы!

– Жил всегда в благочестии, потому ни один суставчик у меня не болит! Где остановился, братец, нашел ли себе пристанище?

– Домик мой под Мокотовом, хорош и удобен, я после войны его стаю.

– Счастливчик. А я со вчерашнего дня по всему городу гоняю, и без толку.

– Любезный друг. Сделай одолжение! Милости прошу ко мне. Уж в этом ты мне не откажешь! Поживи у меня – во дворе, кроме дома, флигель, конюшни. И для челяди, и для лошадей места хватил.

– Видно, небо мне тебя послало, ей-богу.

Кетлинг забрался в повозку, и они поехали.

Всю дорогу Заглоба рассказывал ему, какое с паном Володыевским стряслось несчастье, а Кетлинг, впервые об этом слыша, в отчаяньи ломал руки.

– Твое известие и для меня нож острый, быть может, ты и не знаешь, как мы с ним в последнее время дружили. В Пруссии вместе крепости брали, шведов выкуривали. С паном Любомирским воевали и на Украину хаживали, во второй-то раз после смерти князя Иеремии, под началом коронного маршала Собеского. Из одной чашки ели, одно седло нам подушкой служило. Кастором и Поллуксом нас называли. И только, когда Михаил за панной Борзобогатой на Жмудь поехал, час separationis⁴ настал, но кто мог подумать, что счастье его, уподобившись стреле на ветру, столь мимолетным оказалось.

– Нет ничего вечного в сей юдоли печали, – отвечал Заглоба.

– Ничего, кроме истинной дружбы... Хорошо бы разведать, где он теперь. Может, коронный маршал даст совет, он Михала как родного сына любит. А коли нет, так ведь сюда выборщики со всех сторон понаехали. Быть не может, чтобы никто ничего о столь славном рыцаре не слышал. Я вам, сударь, помочь рад и для брата родного не сделал бы больше.

Так, беседуя, добрались они и до кетлингского домика, который на деле изрядным доминой оказался. Там было и богатое убранство, и немало диковинок всяких – среди них и купленные, и трофеи всевозможные. А уж оружия – видимо-невидимо. Пан Заглоба расчувствовался вконец:

– Ого! Да ты, я вижу, и двадцать человек принял бы без труда. Видно, фортуна мне улыбнулась, нашей встрече способствуя. Я мог бы и у пана Антония Храповицкого остановиться, он старинный мой друг и приятель. И Лацы меня к себе заманивали, они против Радзивиллов людей собирают, но я тебе предпочтение отдал.

– Слышал я от стороны литовской, – сказал Кетлинг, – что теперь, когда до Литвы черед дошел, маршалом сейма Храповицкого назначат!

⁴ разлуки (лат.).

– И поступят верно. Человек он почтенный, судит здраво, впрочем, пожалуй, чересчур. Для него согласие важнее всего. Уж очень он всех мирить любит. А это пустая затея. Но все же, скажи мне по чести, что думаешь ты о Богуславе Радзивилле?

– С той поры, как татары Кмицица и меня под Варшавой в полон захватили, слышать о князе не хочу. Службу свою я оставил и больше о ней хлопотать не стану – сила у князя большая, но человек он злой и коварный. Вдоволь я на него нагляделся, когда он в Таурогах на добродетель этого ангела, этого небесного создания покушался.

– Небесного? Подумай, что говоришь! Она из той же глины, что и все прочие, вылеплена и, как любая другая кукла, разбиться может. Да, впрочем, не о ней речь!

Заглоба вдруг покраснел и вытаращил глаза от гнева.

– Подумать только, это шельма – депутат?!

– О ком ты? – удивленно спросил Кетлинг, у которого Оленька все еще была на уме.

– Да о Богуславе Радзивилле. Но проверка полномочий на что? Слушай, ты ведь и сам депутат, можешь этой материи коснуться, а уже я подам сверху голос, не бойся! На нашей стороне закон, а они его обойти хотят, ну что же, можно и среди арбитров смуту устроить, да такую, что кровь прольется.

– Не затевай смуты, сударь, Христом-Богом молю. Материи сей я коснусь, это резонно, но Боже избави на сейме посеять смуту.

– Я и к Храповицкому пойду, хоть он ни рыба ни мясо, а жаль. У него, как у будущего маршала, многие судьбы в руках. Я и Пацев на князя напушу. Про все его проделки объявлю публично. Ведь слышал же я в дороге, что пройдоха этот в короли метит!

– До полного падения должен дойти народ, да и не заслуживает иной участи, ежели избереет себе такого короля, – отвечал Кетлинг. – А теперь, ваша милость, отдохните хорошенько, а потом наведемся к пану коронному маршалу – может, что о Михале раз узнаем.

Глава IV

Через несколько дней завершился сейм, где, как и предсказывал Кетлинг, маршальский жезл был вручен пану Храповицкому, тогдашнему подкоморию смоленскому, ставшему позднее воеводой витебским. Речь шла об определении дня выборов и назначении высокого совета. Интриги разных сторон в подобных делах значили не слишком много, и потому казалось, сейм пройдет мирно. Но с самого начала спокойствие было нарушено проверкой выборных полномочий. Когда депутат Кетлинг усомнился в выборных правах пана бепьского писаря и его друга князя Богуслава Радзивилла, из толпы арбитров тотчас же раздался зычный бас: «Предатель! Чужим господам служит!» Этот голос был подхвачен и другими, их примеру последовал кое-кто из депутатов, и неожиданно сейм распался на две враждующие партии: одна хотела лишить бельских депутатов выборных прав, другая всячески их выгораживала. Пришлось обратиться в суд, который утихомирил спорщиков, признав права Радзивилла законными.

И все же для князя конюшего это был тяжкий удар, одно то, что кто-то посмел усомниться в его правах, *сogam publice* заявил про его измены и вероломство во время последней войны со шведами, опозорив его перед всей Речью Посполитой, выбило у честолюбца почву из-под ног. Ведь он, разумеется, рассчитывал на то, что, когда сторонники Конде схватятся с приверженцами Нейбурга и Лотарингии, не говоря уж о всякой мелочи, депутаты подумают: не лучше ли поискать достойного человека среди своих, и выбор их падет на соотечественника. Гордыня да и льстецы нашептывали ему: доблестный, знатный, сиятельный рыцарь, словом – он, и никто другой.

Храня дела свои в глубокой тайне, князь давно уже раскинул сети в Литве, а теперь забросил их и в Варшаве, и тут на тебе, сеть тотчас прорвали, да так, что вот-вот уйдет вся рыба. На суде, разбиравшем дело, князь скрежетал зубами от злости, но Кетлинг был ему не подвластен, и тогда Радзивилл посулил награду тому, кто укажет на арбитра, вслед за Кетлингом провозгласившего на весь зал: «Изменник и предатель!»

Пан Заглоба был слишком известен, чтобы имя его могло оставаться в тайне, да он и не таился. А князь, проведав, с кем имеет дело, хоть и пришел в ярость, но не решился все же выступить против всеобщего любимца.

Пан Заглоба, разумеется, знал себе цену и, услышав про угрозы князя, при всей шляхте сказал невзначай:

– Ежели с моей головы упадет хоть волос, кое-кому солоно придется. Коронация не за горами, а тут, коли собрать братски сабель тысяч сто, недолго и до резни.

Слова эти дошли до князя, он закусил губу в презрительной усмешке, но в душе признал, что Заглоба прав.

Уже на другой день он, должно быть, переменил свои намерения и, когда на пиру у князя кравчего кто-то вспомнил про Заглобу, сказал:

– Слышал я, этот шляхтич меня не жалуется, но я так старых рыцарей ценю, что все ему наперед прощаю.

А через неделю на приеме у пана гетмана Собеского он повторил эти слова самому Заглобе.

Увидев князя, Заглоба и бровью не повел, лицо его по-прежнему хранило спокойствие, и все же ему было не по себе, все знали, что князь человек влиятельный и опасный, сущий злыдень. А князь между тем обратился к нему с другого конца стола с такими словами:

– Почтеннейший пан Заглоба, до слуха моего дошла весть, что вы, не будучи депутатом, задумали меня ни за что ни про что моих полномочий лишить, но я по-христиански вам прощаю, а коли надо, готов и протекцией послужить.

– Коли обо мне речь, то я следовал конституции, – отвечал Заглоба, – что долгом каждого шляхтича почитаю, *quod affiner*⁵ протекции, то в мои-то годы ее мне может составить только Бог ведь мне как-никак под девяносто.

– Почтенный возраст, если жизнь ваша была столь же добродетельной, сколь и долгой, в чем, впрочем, я ничуть не сомневаюсь.

– Служили отчизне и своему господину, об иных господах не помышляя.

Князь слегка поморщился.

– А против меня замышляли недоброе, почтеннейший, слыхан я и об этом. Но да будет меж нами мир. Все забыта, даже и то, что вы, сударь, натравляли *contra me*⁶ моих завистников. Быть может, с давний недругом моим я еще и сочтусь, но вам готов протянуть руку дружбы.

– Чином я не вышел, да и слишком высокая это для меня честь. Для такой дружбы мне пришлось бы все время подпрыгивать или карабкаться, а это на старости лет куда как тяжело. Ежели вы, ясновельможный князь, с моим другом Кмицицем счеты свести намерены, то от души советую: откажитесь от такой арифметики.

– Разрешите узнать, почему?

– В арифметике четыре действия. Может, у пана Кмишца доход и неплохой, да по сравнению с вашими богатствами это мелочь, стало быть, делить его он не согласится; умножением занят сам; отнять у себя ничего не позволит мог бы, пожалуй, кое-что добавить, да не знаю, ваша княжеская милость, по вкусу. *т будет* вам *его* угощение.

И хотя князь не раз принимал участие в словесных поединках, то ли рассуждения, то ли дерзость старого шляхтича до того его поразили, что он онемел. У гостей животы затряслись от смеха, а пан Собеский, громко расхохотавшись, сказал:

– Узнаю старого зборажца? У него не только сабля, но и язык остер! Лучше такого не задирать.

Князь Богуслав, видя, что Заглоба непреклонен, не пытался больше его переманивать, но во время застолья невзначай бросал на старого рыцаря злые взгляды.

Гетман Собеский, войдя во вкус, продолжал разговор:

– Великий вы, сударь, искусник в любом поединке, одно слово – мастер. Найдутся ли равные вам в Речи Посполитой?

– Саблей Володыевский владеет не хуже, – отвечал довольный Заглоба. – Да и Кмициц прошел мою школу.

Сказав это, он взглянул на Радзивилла. но князь притворился, что не слышит, и как ни в чем не бывало о чем-то беседовал с соседом.

– О да! – согласился гетман. – Я Володыевского не раз в деле видывал и готов довериться ему, даже если речь пойдет о судьбах всего христианства. Жаль, такого солдата беда словно буря подкосила.

– А что так? – спросил Сарбевский, цехановский мечник.

– Суженая его по дороге домой, в Ченстохове, отдала Богу душу, – сказал Заглоба. – но хуже всего, что я никак узнать не могу, куда он сам девался.

– Стойте! – воскликнул краковский каштелян пан Варшицкий. – Так ведь я встретил его, едуци в Варшаву, сказал он, что, от мирской суеты устав, решил на *Mons regius* удалиться, дабы там в посте и молитвах свой земной путь закончить.

Заглоба схватился за поредевший чуб.

– Камедулом заделался, камедулом, не иначе! – крикнул он в отчаянии.

Рассказ пана Варшицкого взбудоражил всех.

⁵ что касается (лат.).

⁶ против меня (лат.).

Гетман Собеский, который в солдатах души не чаял и лучше, чем кто другой, знал, как нужны они отчизне, опечалившись, сказал с досадою:

– Человеческой вольной воле и славе Божьей противиться грех, а все же жаль, не буду от вас скрывать, большая это потеря. Солдат он был хоть куда, старой выучки, школы князя Иеремии, такой в любом бою хорош, а уж против, орды и нечисти всякой надежней защитника не найти. В степях у нас всего лишь несколько таких наездников найдется: у казаков – пан Пиво, а в нашей войске пан Рушич, ко куда им до Володыевского.

– Счастье еще, что времена теперь поспокойнее, – заметил цехановский мечник, – и что нехристи эти блюдут подга-ецкие тракты, несравненным мечом моего благодетеля добытые.

Тут пан мечник склонился перед гетманом Собеским, а тот, польщенный высказанной при всех похвалой, отвечал:

– Всевышнего надо благодарить за то, что он дозволил мне лечь, как верному псу, на дороге Речи Посполитой и врагов ее покусать без жалости. Да еще солдатам нашим за верную службу спасибо. Хан был бы рад следовать трактатам, это доподлинно мне известно, но и в самом Крыму согласия нет, а уж белгородская орда и вовсе из повиновения вышла. Известие пришло, что на молдавских рубежах собираются тучи, вот-вот буря фянет, я приказал следить за дорогами; да только солдат мало. Нос вытащишь – хвост увязнет, а уж старые вояки, те, что орду со всеми ее уловками знают, и вовсе наперечет, потому я и говорю; худо нам без Володыевского!

Тут Заглоба, который все еще держался за голову, взмахнул руками и воскликнул:

– Клянусь, не будет он камедулом; не: допущу до этого, пусть даже мне придется налет на Mons regius устроить и силой его увести. Завтра с утра за ним еду. Может, он меня послушает, а нет – я до генерала всех камедулов; до самого ксендза примаса доберусь, даже если ради этого мне в Рим ехать придется. Не хочу я умалять славу Божью, но какой из него камедул, у него и волосы-то на подбородке не растут. Их не более, чем на моем кулаке. Ей-Богу! Он и молитвы-то петь не умеет, а если и запоет, то все крысы из монастыря разбегутся, подумают, кот замаякал, свадьбу справляя. Не взыщите, что я в простоте душевной это вам говорю. Был бы у меня родной сын, не любил бы я его так, как этого молодца. Бог ему судья! Ну ладно, бернардинцем стал бы, а то на тебе – камедул. Нет, покуда я жив, не бывать этому. С самого утра к ксендзу примасу пойду, просить письма к приору.

– Пострижения еще быть не могло, – перебил его мечник – Но ты, сударь, его не торопи, а то заупрямится, да ведь и то сказать, вдруг в этом желании воля Божья таится.

– Воля Божья – да вдруг? Вдруг черт берет на испуг, говорит старая поевовица. Если бы на то Божья воля была, я давно бы в нем призвание почуял, да только он не ксендз, а драгун. Если бы он доводам разума следовал, я бы смирился, но Божья воля не налетает на человека, как ястреб на птичку. Я принуждать его не стану. По дороге обдумаю во всех тонкостях, как дело повести, дабы он из-под рук моих не ушел, но на все воля Божья! Всегда наш солдатик моим суждениям больше, чем своим собственным, верил, даст Бог, если он хоть немного на себя похож, и на сей раз так будет.

Глава V

На другой день, заручившись письмом от ксендза примаса и обсудив весь план действий с Кетлингом. Заглоба позвонил в колокольчик у монастырских ворот на Mons regius. С волнением ждал он, как-то примет его Володыевский. При одной мысли об этом сердце его билось чаще; разумеется, он обдумал предстоящий разговор во всех тонкостях и теперь размышлял, с чего начать, понимая, что многое решат первые мгновенья. С этой мыслью он зазвонил в колокольчик, раз-другой, а когда в замке скрипнул ключ и калитка слегка приоткрылась, не слишком церемонясь, решительно подался вперед, а оторопевшему монашку сказал:

– Знаю, у вас свои законы, сюда не каждый войдет, но вот у меня письмо от ксендза примаса, не откажи в любезности, *carissime frater*, передать сие послание отцу приору.

– Желание ваше будет исполнено, – сказал монашек, склонившись в поклоне при виде примасовой печати.

Промолвив это, он потянул за прикрепленный к язычку колокольчика ремень, раз-другой, чтобы позвать кого-то, потому что сам отойти от ворот не смел.

По зову колокольчика явился другой монах и, забрав письмо, в молчании удалился, а пан Заглоба положил на лавку узелок, который держал в руках, и сел тут же, с трудом переводя дух.

– *Fater*, – сказал он наконец, – давно ли ты в монахах ходишь?

– Скоро пять лет, – отвечал привратник.

– Подумать только, такой молодой – и пять лет. Теперь, поди, даже если бы и захотелось покинуть эти стены, поздно. Небось тоскуете иногда *pro* мирской жизни, одного военная служба влечет, другого – забавы да пирушки, у третьего вертихвостки всякие на уме...

– *Arage*⁷! – сказал монашек с чувством и перекрестился.

– Так как же? Неужто соблазны не смущали? – повторил Заглоба.

Но монашек с недоверием глянул на этого посланца духовной власти, речи которого звучали столь непривычно, и сказал:

– Тому, за кем эти двери закрылись, назад дороги нет.

– Ну это мы поглядим! Как там пан Володыевский? Здоров ли?

– Тут нет никого, кто носил бы это имя.

– Брат Михаил, – сказал наудачу пан Заглоба. – Бывший драгунский полковник, что недавно к вам пожаловал?

– Это, должно быть, брат Ежи, но обета он не давал, срок не подошел.

– И не даст, наверное, потому что и не поверишь, *fater*, какой это был сердцеед! Другого такого повесы и греховодника ни в одном монасты... тьфу ты пропасть, я хотел сказать, ни в одном полку не сыщешь, хоть все войско перебери!

– Такие речи мне и слушать негоже, – сказал монах, дивясь все большие и больше.

– Вот что, *fater*! Не знаю, где у вас мода гостей принимать, если здесь, советую удалиться, вот хотя бы в ту келью у ворот, потому как у нас разговоры пойдут мирские.

– Уйду хоть сейчас, от греха подальше, – сказал монах. Тем временем появился Володыевский, иначе говоря, брат Ежи, но Заглоба не узнал его, так сильно он переменялся.

В белом монашеском одеянии Михаил казался чуть выше, чем в драгунском колете, когда-то лихо закрученные вверх, чуть ли не до самых глаз усы теперь обвисли. Брат Ежи, должно быть, пытался отпустить бороду, и она топорщилась русыми клочьями не более чем на полпальца в длину; он отоцал и даже высох, а главное, глаза у него потускнели. Опустив голову и спрятав на груди под рясой руки, бедняга шел, едва передвигая ноги.

⁷ Изыди! (лат.)

Заглоба поначалу не узнали его и, решив, что сам приор вышел его встретить, встал с лавки и начал первые слова молитвы:

– Landetur...

Но, присмотревшись, раскинул руки и воскликнул:

– Пан Михаил! Пан Михаил!

Брат Ежи не противился объятиям, что-то похожее на рыданье всколыхнуло его грудь, но глаза по-прежнему оставались сухими.

Заглоба долго прижимал его к груди и наконец заговорил:

– Не одинок ты был, оплакивая свое несчастье. Плакал я, плакали Кмищицы и Скшетуские. На все воля Божия! Смирись с нею, Михаил! Пусть же тебя отец милосердный вознаградит и утешит! Мудро ты поступил, отыскав себе сию пристань. В час скорби мысли о Боге – лучшее утешение. Дай-ка еще раз прижму тебя к сердцу. Вот и не вижу тебя совсем – слезы глаза застыт.

Пан Заглоба, глядя на Володыевского, и в самом деле растрогался до слез, а выплакавшись, сказал:

– Прости, брат, что вторгся в тихую твою обитель, но не мог я поступить иначе, да и сам ты с этим согласишься, доводы мои послушав! Ах, Михаил, Михаил! Сколько мы вместе пережили и дурного и хорошего! Нашел ли ты за этой оградой хоть какое-то утешение?

– Нашел, – отвечал пан Михаил, – нашел в словах, что денно и ночью тут слышу и твержу и готов твердить до самой смерти. Memento mori! В смерти мое утешение.

– Гм! Смерть куда легче на поле битвы найти, чем в монастыре, где жизнь идет день за днем, будто кто понемногу клубок разматывает.

– Тут нет жизни, нет земных дел, и душа, еще не расставшись с телом, уже в ином мире обитает.

– Коли так, не стану тебе говорить, что белгородская орда на Речь Посполитую зубы точит, твое ли это теперь дело?

Усы пана Михаила вдруг встопорчились, правая рука невольно потянулась влево, но, не найдя сабли, снова исчезла под одеянием. Он опустил голову и сказал:

– Memento mori!

– Верно, верно! – сказал Заглоба, с явным нетерпением моргая здоровым глазом. – Только вчера гетман Собеский сказывал: «Пусть бы Володыевский еще и эту бурю с нами встретил, а потом пусть идет в любой монастырь. Господь на него за это не разгневается, наоборот, был бы монах хоть куда». Но трудно и удивляться, что собственное спокойствие тебе покоя родины дороже, как говорится: *prima Caritas ab ego*⁸.

Наступило долгое молчание, только усы у пана Михала дрогнули и встопорчились.

– Обета не давал? – спросил вдруг Заглоба. – Стало быть, хоть сейчас можешь отсюда выйти?

– Монахом я не стал, потому что ждал на то Божьего благословения и того часа, когда горестные мысли перестанут томить душу. Но Божья благодать на меня снизошла, спокойствие возвратилось, стены эти я покинуть могу, но не хочу; приближается срок, когда я с чистым сердцем, земных помыслов чуждый, дам наконец обет.

– Не хочу я тебя отговаривать, да и рвение твое мне по душе, хотя, помнится, Сюиетуский, падумав постричься в монахи, ждал, когда над отечеством стихнет буря. Делай как знаешь. Ей-ей, не стану отговаривать, я ведь и сам когда-то о монастырской обители мечтал. Было это полвека назад, помнится, стал я послушником; с места мне не сойти, коли вру. Но увы, Господь распорядился иначе. Об одном тебя только прошу, Михаил, выйди отсюда хоть на денек.

– Зачем? Оставьте меня в покое! – отвечал Володыевский.

⁸ Здесь: своя рубашка ближе к телу (лат.).

Заглоба заплакал в голос, утирая слезы полой кунтуша.

– Для себя, – говорил он, – для себя не ищю я помощи и защиты, хотя князь Богуслав Радзивилл только и помышляет о мести да убийц ко мне подсылает, а меня, старого, уберечь и оградить от него некому. Думал, что ты. Ну да полно об этом. Я все равно тебя как сына любить буду, даже если ты в мою сторону и не глянешь. Об одном прошу, молись, за мою душу, потому что мне от рук Богуславовых не уйти!.. Будь что будет! Но знай, что другой твой товарищ, который последним куском с тобой делился, лежит на смертном одре и непременно повидать тебя хочет, дабы облегчить и успокоить свою душу перед кончиной.

Пан Михаил, с волнением слушавший рассказ о грозивших Заглобе опасностях, тут не выдержал и, схватив его за плечи, спросил:

– Кто же это? Скшетуский?

– Не Скшетуский, а Кетлинг!

– Бога ради, что с ним?

– Меня защищая тяжко ранен был приспешниками князя Богуслава и не знаю, протянет ли еще хоть денек. Ради тебя, Михаил, решились мы на все, только для того и в Варшаву приехали, об одном помышляя, как тебя утешить. Выйди отсюда, хоть на два денечка, порадууй больного перед смертью. А потом вернешься, примешь обеты. Я привез письмо от отца при-маса к приору, это чтобы тебе не ставили препоны. Торопись, друже, медлить некогда.

– Боже милостивый! – воскликнул Володыевский. – Что я слышу! Препоны мне ставить и так не могут, я здесь всего лишь послушник. Боже ты мой, Боже! Просьба умирающего-свята! Ему я отказать не могу!

– Смертельный был бы грех! – воскликнул пан Заглоба.

– Истинная правда! Всюду этот предатель Богуслав! Вовек не увидеть мне этих стен, если я за Кетлинга отомстить не сумею. Уж я его приспешников, убийц этих, разыщу, я им головы посшибаю! Боже милостивый, уже и мысли грешные одолевать стали! Memento mori! Послушай, друг, я сейчас переоденусь в прежнее платье, в этом исходить мне в мир не пристало.

– Вот одежда! – крикнул Заглоба, протягивая руки к узелку, который лежал тут же на скамье. – Все я предусмотрел, все приготовил. Тут и сапоги, и сабля отменная, и кунтуш.

– Прошу ко мне в келью, – торопливо сказал маленький рыцарь.

Они скрылись в келье, а когда появились снова, то рядом с Заглобой шел уже не монашек в белом одеянии, а офицер в желтых ботфортах, с саблей на боку, с белой португеей через плечо.

Заглоба знай себе подмигивал, а увидев привратника, который с явным возмущением открыл ворота, улыбнулся в усы.

В сторонке от монастыря, чуть пониже, стоял возок пана Заглобы с двумя челядинцами: один сидел на козлах, придерживая вожжи отлично запряженной четверкой, которую пан Володыевский невольно окинул взглядом знатока, другой стоял рядом – в правой руке он держал заплесневелую бутылку с вином, в левой – два кубка.

– До Мокотова путь неблизкий, – сказал Заглоба, – а у ложа Кетлинга ждет нас великая скорбь. Выпей, Михаил, чтобы легче тебе было снести удары судьбы, а то ослаб ты, как погляжу.

Сказав это, Заглоба взял из рук у слуги бутылку и наполнил кубки загустевшим от старости венгерским.

– Достойный напиток, – заметил он, поставив бутылку на землю и беря в руки кубки. – За здоровье Кетлинга!

– За здоровье! – повторил Володыевский. – Едем! Залпом опрокинули кубки.

– Едем! – повторил Заглоба. – Наливай, мальчик! За здоровье Скшетуского! Едем!

Снова выпили залпом, и в самом деле пора было в *путь*.

– Садимся! – воскликнул Володыевский:

– Неужто ты за мое здоровье не выпьешь? – с чувством спросил Заглоба.

– Давай, да поживее!

В третий раз опрокинули кубки, Заглоба выпил залпом, хотя в кубке было эдак с полкварты, и, не успев даже обтереть усов, жалобно завопил:

– Был бы я тварью неблагодарной, если бы не выпил и за тебя. Наливай, мальчик!

Наконец бочонок опустел, и Заглоба, схватив его за горлышко, разбил вдребезги, так как не мог видеть пустой посуды. Вслед за тем они поспешно сели и поехали.

Благородный напиток приятно подействовал на них: в сердца их вселилась какая-то бодрость, и по всему телу разлилась приятная теплота; у брата Юрия заиграл легкий румянец на щеках, и глаза заблестели необыкновенным огнем. Он по-прежнему начал покручивать свои усики, так что вскоре они приняли остроконечное направление к глазам, при этом он с большим любопытством смотрел по сторонам, словно впервые видел эту местность.

Вдруг Заглоба ни с того ни с сего хлопнул себя по коленям и громко вскричал:

– Го! Го! Я уверен, что Кетлинг тотчас же выздоровеет, как только увидит тебя!

И он схватил Володыевского за шею и начал крепко обнимать его.

Не желая оставаться в долгу, брат Юрий тоже обнял его.

После этого они ехали в приятном молчании до самого города, пока по обеим сторонам дороги не замелькали домики предместья.

Перед каждым домиком происходило сильное оживление: мещане, солдаты и дворяне, почти все хорошо одетые, двигались в разных направлениях.

– Однако, многолько приехало шляхты на выборы, – сказал Заглоба. – Положим, что многие приехали просто так, послушать да посмотреть. Но все дома и гостиницы до того переполнены, что трудно найти отдельную комнату... Но, Миша, чтобы ты знал, сколько шляхтянок гуляет по улицам, – просто страсть! Больше, чем у тебя волос на бороде. Есть, шельмы, такие хорошенькие, что так бы вот и захлопал крыльями, как петух, да и запел. Посмотри-ка вот на эту чернявую, за которой гайдук несет зеленую шубку... Не правда-ли, какая смазливая? Да?

При этом Заглоба толкнул локтем в бок маленького рыцаря. Тот приосанился, зашевелил усиками, но тотчас же сконфузился и, опомнившись, свесил голову и произнес:

– Memento mori!⁹

Заглоба не утерпел и, схватив его опять за шею, воскликнул.

– Если ты хоть каплю любишь и уважаешь меня, то женись, сделай милость. Столько есть на свете порядочных девушек, что положительно нельзя не жениться!.. И ты женишься!..

Брат Юрий с изумлением взглянул на Заглобу и решил, что Заглоба говорит все это только потому, что много выпил. Но Заглоба мог выпить втрое больше и нисколько не опьянеть, а говорил он все это от избытка чувств. Наконец Володыевский сурово взглянул в лицо Заглобы и спросил:

– Не слишком ли вы много выпили?

– От души советую тебе жениться! Володыевский посмотрел на него еще строже.

– Memento mori!

Но Заглоба не унимался.

– Послушай, Миша, если ты любишь меня, то поцелуй мою собаку в нос *со* своими «Memento». Говори, что тебе угодно, но я все-таки не перестану думать о том, что предназначено Господом. Ясно, что Бог создал тебя не для монашества, а для войны, если позволил тебе усовершенствоваться в этом искусстве; если бы Он хотел, чтобы ты был попом или монахом, то поверь мне, наверное Он дал бы тебе совсем другие способности, и ты бы любил больше книги и латынь, а не рыцарский меч. Заметь также, что в небе святые почитают солдат не хуже монахов, потому что они также сражаются с дьявольскими войсками, и когда возвращаются

⁹ Помни о смерти! (лат.).

с победными знаменами, то Господь собственноручно награждает их за это. Все это такие истины, против которых ты ничего не можешь сказать.

– Не спорю, потому что трудно бороться с вашим умом, но ведь согласитесь, что лучше выплакать горе в монастыре, чем в миру.

– Тем более не стоит ради этого затворяться в монастыре. Дурак тот, кто кормит свое горе, а не морит его голодом, чтобы оно подошло поскорее.

При таком аргументе трудно было что-нибудь возразить, и поэтому Володыевский замолчал и только немного спустя заговорил печальным голосом:

– Не напоминайте мне, пожалуйста, о женитьбе, потому что во мне пробуждается прежняя скорбь. Нет у меня прежней охоты, да и года уже не те. ведь я уже лысеть начинаю. Шутка ли – сорок два года и двадцать пять походов!

– Господи, прости ему это богохульство! – сказал Заглоба. – Сорок два года! Тьфу! Ведь мне вдвое больше твоего, а и то приходится подчас умирять жар в крови. Ты бы вспомнил дорогую покойницу! Хорош ведь ей был, а для других плох, стар сделался?

– Довольно, довольно!.. Оставьте, – жалобно взмолился Володыевский. И слезы потекли по его усикам.

– Ну, не буду больше! – сказал Заглоба. – Только дай мне рыцарское слово, что ты не покинешь нас в этом месяце, что бы там ни случилось с Кетлингом. Тебе надо и Скшетуского повидать. А потом никто не помешает тебе возвратиться в монастырь, если пожелаешь.

– Даю честное слово, что останусь! – отвечал Володыевский.

И они переменили разговор.

Заглоба начал рассказывать о сейме и о том, как он возбудил вопрос о неправильном избрании Богуслава, и о Кетлинге. По временам он прерывал свой рассказ и задумывался, но мысли эти, по-видимому, были самого веселого свойства, так как Заглоба часто повторял, хлопая себя по коленям:

– О-о!..

По мере того как они приближались к Мокотову, лицо Заглобы принимало беспокойное выражение и внезапно, обращаясь к Володыевскому, он спросил:

– Помни, что ты обещал не уезжать от нас целый месяц, что бы ни случилось с Кетлингом.

– Я дал слово и останусь верен ему, – отвечал маленький рыцарь.

– Вот и дом Кетлинга! – воскликнул Заглоба. – Не правда ли, как он прилично устроился?

Потом прибавил, обращаясь к вознице:

– Ну-ка, хлопни бичом!.. Сегодня праздник в этом доме!

Возница щелкнул бичом, словно выстрелил из ружья. Но не успели они въехать в ворота, как на крыльце показались товарищи и друзья Володыевского. Там были и старые соратники времен Хмельницкого, и молодые товарищи последней войны. Два из них, Василевский и Нововойский, хоть были еще юноши, но уже пристрастились к войне; они удрали из школы почти детьми и уже несколько лет служили под начальством Володыевского, который их очень любил.

Старшими из всех были некто Орлик Новина, у которого голова была пробита шведской гранатой и запаяна золотом, а также Рушич, этот дикий степной зверь и лихой наездник, уступавший в доблести только одному Володыевскому.

Много было еще других гостей; все они, увидев двух знакомых мужчин в повозке, крикнули в один голос:

– Вот он, вот он! Молодец Заглоба!

Все бросились к повозке, схватили на руки маленького рыцаря и понесли его на крыльцо.

– Здорово, дорогой товарищ! – кричали они. – Теперь мы тебя ни за что не отпустим. Да здравствует Володыевский, гордость и слава нашего войска! В степи с нами! В дикие поля!.. Там улетит с ветром грусть твоя!..

На крыльце товарищи выпустили Володыевского, который приветствовал их; он был очень растроган таким радушным приемом.

– Ну, как Кетлинг? Жив ли он еще?

– Жив, жив, – отвечали все хором, но при этом странная улыбка появилась на лицах старых солдат. – Пойдем к нему, он ужасно хочет видеть тебя и, пожалуй, не дожидается твоего прихода.

– Значит, ему не так плохо, как говорил мне Заглоба, – отвечал маленький рыцарь.

Все вошли в сени, а оттуда в просторную горницу, посередине которой стоял стол с приготовленными яствами, а в углу – скамейка, покрытая белой лошадиной кожей; на ней лежал Кетлинг.

– Товарищ дорогой! – сказал Володыевский, поспешно подходя к нему.

– Миша! – крикнул, вскакивая, Кетлинг и начал крепко сжимать его в своих объятиях.

Оба так сильно и радушно обнимались, что даже приподнимали друг друга на воздух.

– А мне, братец, велели притвориться опасно больным, – начал шотландец, – но я не мог улежать при виде тебя. Я, слава Богу, здоров как рыба, и ничего со мной не случилось. Все это мы придумали для того, чтобы извлечь тебя из-за монастырских стен. Прости нам, Миша! Одна любовь к тебе заставила нас придумать такую ловушку.

– В дикие поля с нами! – снова крикнули хором рыцари, хлопая по саблям своими мускулистыми руками, так что в комнате послышался грозный звон.

Володыевский с недоумением посматривал на друзей, в особенности на Заглобу, и наконец сказал:

– Ах, вы предатели! А я в самом деле думал, что Кетлинг изрублен в куски и лежит при смерти.

– Что ты, что ты, Миша! – возразил Заглоба. – Неужели ты сердишься за то, что Кетлинг здоров, и сожалешь, что он еще жив. Видно, брат, твое сердце до того очерствело, что ты хочешь, чтобы мы все умерли – и Кетлинг, и Орлик, и Рушич, и эти молодчики, даже Скше-туский и я – я, который любит тебя, как сына.

Заглоба закрыл глаза и почти со слезами продолжал:

– Что нам, господа, в этой жизни, когда кругом нас царит одна черная неблагодарность!

– Ах, Боже мой! – живо отвечал Володыевский. – Ведь я не желаю вам зла, я только хочу этим сказать, что вы не захотели пощадить моего горя.

– Нет, тебе досадно, что мы живы! – повторял Заглоба.

– Успокойтесь, Бога ради.

– Мы проливали столько слез, жалея его, а он еще упрекает нас, что мы не пощадил его горя. Но Бог мой свидетель, что мы все, как истинные друзья, готовы разметать твою печаль своими саблями. А ты, коль скоро дал слово пробыть с нами хоть месяц, то держи его и люби нас, по-крайней мере хоть это время.

– Да я вас буду любить до смерти! – отвечал Володыевский.

Разговор их был прерван приходом нового гостя, приезда которого друзья не заметили и увидели только тогда, когда он уже вошел в комнату. Это был высокий плотный мужчина с величественным лицом, как у римского цезаря, выражавшим власть и вместе с тем царственную доброту и приветливость. По своему росту он резко выделялся из остальных воинов и стоял, подобно орлу, окруженному ястребами, сарычами, кончиками.

– Великий Гетман! – воскликнул Кетлинг и, как хозяин, вскочил приветствовать его.

– Пан Собеский – повторили остальные.

Все с уважением поклонились ему. Все, исключая Володыевского, знали, что гетман придет, так как обещал Кетлингу, однако приезд его, по-видимому, сильно поразил присутствующих, так что никто не смел открыть рта. В *сущности*, это была необыкновенная милость со стороны Собеского; но он любил солдат, как братьев, а в особенности тех, которые дрались

с татарами; поэтому-то он решился повидать Володыевского и утешить его своим милостивым вниманием, чтобы удержать его в рядах своих войск.

Приветствовав Кетлинга, он протянул руку маленькому рыцарю и обнял *его* за голову; в свою очередь Володыевский обнял колени гетмана.

– Ничего, мой старый рыцарь, ничего, – сказал гетман. – Господь испытал тебя, и Он же утешит, все это пройдет. Ведь ты теперь останешься с нами?.

Из груди Володыевского вырвалось рыдание.

– Останусь! – сказал он сквозь слезы.

– Вот это похвально, побольше бы нам таких воинов, как ты. Ну, а теперь, старый товарищ, припомним то время, когда мы пировали в русских степях под наметами. Мне хорошо среди вас. Ну-ка, хозяин!

– Виват! – закричали все.

Началось пирование, продолжавшееся до позднего вечера. На следующий день гетман прислал Володыевскому прекрасного буланого жеребца.

Глава VI

Кетлинг и Володыевский опять решили не расставаться и, по возможности, ездить рядом, сидеть при одном огне и спать на одном седле.

Но неделю спустя судьба разлучила их.

Из Курляндии прибыл вестник и объявил Кетлингу, что Гаслинг, который усыновил его, внезапно занемог и желает его видеть. Молодой рыцарь, недолго думая, отправился в путь.

Уезжая, он просил Заглобу и Володыевского распорядиться его домом, как своим собственным, и жить в нем, пока им не надоест.

– Может быть, на элекцию приедут Скшетуские, – говорил он, – по крайней мере, он сам наверное будет а если бы даже и все его семейство пожаловало к нам, то найдется место для всех. Ведь у меня нет родных, кроме вас, а вы для меня дороже братьев.

Заглоба чувствовал себя очень хорошо в доме Кетлинга, а потому был очень рад что его пригласили остаться. Но и Володыевскому понравилось это приглашение.

Скшетуский не приехал, а вместо него сестра Володыевского, бывшая замужем за стольником лятычевским, Маковецким, оповестила его о скором своем прибытии. Человек, посланный ею, приехал к гетману с целью разузнать что-нибудь о маленьком рыцаре, и ему тотчас указали на дом Кетлинга.

Володыевский не видал сестры несколько лет и очень обрадовался ее приезду, но, узнав, что она не нашла ничего лучшего и остановилась в жалкой хижине на Рыбаках, тотчас же поехал к ней, чтобы пригласить ее в дом Кетлинга. Уже смеркалось, когда Володыевский явился к сестре; он сразу узнал ее, несмотря на то, что с нею были еще две женщины. Она бросилась обнимать брата. Оба плакали, не будучи в состоянии выговорить ни слова, между тем как две другие женщины стояли в стороне, смотря на их свидание.

Гатония Маковецкая заговорила первая тонким и довольно писклявым голосом.

– Сколько лет, сколько зим! Ах, милый мой братец!.. Я сейчас же поехала, когда услышала о твоём несчастье. Да и муж не удерживал меня, потому что у нас довольно беспокойно. Со стороны Будяка нам угрожает неприятель, да поговаривают также и о белгородских татарах, а они наверняка нападут на нас, потому что появился верный признак войны: целые стаи птиц уже прилетели, как это всегда бывает перед войной. Да утешит же тебя Господь, мой милый братец! Золотой ты мой. Муж мой тоже думает приехать сюда на элекцию. Он сказал мне взять девушек и поехать сюда раньше. Говорит поезжай утешить Мишу, а вместе с этим спасешься и от татар. И я, как видишь, приехала раньше, чтобы подыскать порядочную квартиру и узнать о тебе. Сам он поехал с соседями на разведку. Войск в крае очень мало. Но у нас всегда так. Ах, милый ты мой Миша! Ну, пойдем к окну; дай мне посмотреть на тебя, как ты выглядишь. Да, похудел! Ну да не беда, и нельзя иначе, при таком горе. Легко было мужу говорить: поезжай, подыщи приличную квартиру. А тут вдруг ни одной, и мы вынуждены были приютиться вот в этой лачужке. Насилу соломы достали для спанья.

– Позволь, сестрица!.. – начал было маленький рыцарь.

Но сестра не хотела позволить и продолжала, как мельничное колесо, без остановки:

– Мы остановились здесь по необходимости, потому что другого места не было. Хозяева тоже смотрят волками, может быть, они злые люди. Положим, что у нас четыре человека прислуги, и сами мы не из робких! Ведь у нас там и женщины должны быть храбры, иначе и жить было бы нельзя. Ввиду этого я постоянно вожу с собою бандельерку, а Бася два пистолета, только Христина не любит оружия. Но мы все-таки хотели бы найти лучшее помещение, да, к несчастью, не знаем расположения города.

– Позвольте, сестрица!.. – повторил Володыевский.

– Где же ты живешь, Миша? Ты должен помочь мне найти квартиру, ведь Варшава тебе хорошо известна.

– Да у меня уж есть для вас помещение, – перебил ее брат, – и, нужно заметить, такое, что и сенатор мог бы поместиться там со своей дворней. Я живу у своего друга капитана Кетлинга и сейчас же отведу вас туда.

– Однако ты прими во внимание, что нас трое да четверо слуг... Ах, Боже мой! Ведь я до сих пор еще не познакомила тебя с моими спутницами.

И она обратилась к женщинам:

– Вы знаете, кто он такой, но он вас не знает, познакомьтесь, хотя здесь и темно. Даже и печь еще не затопили. Это Христина Дрогаевская, а это Варвара Езеровская, – представила она. – Они живут у нас, потому что обе сироты, а мой муж их опекун. Ведь таким молоденьким и хорошеньким девушками неудобно жить отдельно.

Когда Маковсукая объяснила все это, брат ее поклонился по-военному, а барышни, приподняв пальчиками платья, сделали реверанс, причем Езеровская тряхнула своей прекрасной головкой.

– Однако едемте! – сказал Володыевский. – Я живу с моим другом Заглобой, которого просил позаботиться об ужине.

– Это тот знаменитый Заглоба?.. – спросила вдруг Езеровская.

– Тише, Бася! – сказала сестра Володыевского. – Я боюсь, что мы наделаем вам хлопот.

– О, не беспокойтесь!.. Если Заглоба взялся хлопотать об ужине, то наверное хватит на всех, даже если бы нас было вдвое больше. Прикажите укладывать свои вещи... Я и тележку прихватил для них, а мы вчетвером свободно доедем в шарабане Кетлинга. Я, знаете ли, вот что думаю, если слуги ваши не пьют, то пусть они останутся здесь до завтра с лошадьми и вещами, а мы пока возьмем только необходимое.

– Им и оставаться незачем, – отвечала сестра, – потому что мы еще не распаковывали вещей. Стоит только запрячь лошадей и пускай себе едут. Бася, пойдй присмотри за этим!

Езеровская порхнула в сени, через несколько минут вернулась и объявила, что все уже готово.

– Пора! – сказал Володыевский.

Немного спустя они сидели уже в шарабане и ехали по направлению к Мокотову. Маковецкая с Дрогаевской поместились на заднем сиденье, а маленький рыцарь и Бася – на переднем. Было уже совсем темно, и Володыевский не мог рассмотреть лиц девушек.

– Вы знаете Варшаву? – обратился он к Дрогаевской, возвышая голос, чтобы заглушить шум колес.

– Нет, – отвечала она звучным, приятным голосом. – Мы провинциалки, не видали никогда ни больших городов, ни знаменитых людей.

При этом она слегка нагнула голову, как бы желая этим выразить, что Володыевский принадлежит к таким людям. Рыцарь, польщенный ее комплиментом, подумал про себя: «Ловкая девушка!» – и начал придумывать подходящий комплимент, которым мог бы отблагодарить ее.

– Если бы этот город был в десять раз больше, – придумал он наконец, – то и тогда вы могли бы быть лучшим его украшением.

– А почему вы знаете? Ведь теперь темно, и вы не видели нас? – спросила его внезапно Езеровская.

«Вот егоза!» – подумал про себя Володыевский и ничего не сказал. После непродолжительного молчания Езеровская опять обратилась к маленькому рыцарю:

– А хватит ли у вас места для наших лошадей: ведь у нас десять выездных, да две клячи.

– Хоть бы их было тридцать, для всех хватит.

– Фью! Фью! – присвистнула в ответ Варвара Езеровская.

– Бася! – сказала с укоризной Маковецкая.

– Ну что? Все Бася да Бася! А кто всю дорогу заботился о них?

Беседуя таким образом, они подъехали к крыльцу дома Кетлинга.

Ради приезда сестры Володыевского все окна в доме были ярко освещены, а слуги и Заглоба вышли на крыльцо высаживать дам, причем последний, увидев трех барынь, тотчас же спросил:

– В лице которой из трех я имею честь приветствовать мою благодетельницу и сестру моего лучшего друга?

– Это я! – отвечала жена стольника.

Заглоба взял ее руку и начал целовать, повторяя:

– Челом вам, челом!..

Высадив ее из шарабана, он проводил ее до сеней и, почтительно расшаркиваясь, проговорил:

– Прежде чем переступите этот порог, позвольте мне еще раз приветствовать вас.

Между тем Володыевский помогал высаживаться барышням, а так как шарабан был довольно высок и трудно было попасть на подножку, то он схватил в охапку Дрогаевскую, поднял ее в воздух и поставил перед собою. Опираясь, она прикоснулась к нему грудью и на одно мгновение повисла на его шее, проговорив:

– Благодарю вас!

После этого Володыевский хотел посадить и Езеровскую, но та уже выскочила из шарабана с другой стороны.

Маленький рыцарь взял Дрогаевскую под руку и вошел в комнаты.

Там молодые девушки познакомились с Заглобой, который повеселел при виде таких хорошеньких барышень и сразу же пригласил их ужинать.

Кушанья были уже поданы и, как предвидел Володыевский, всего было много, так что вдвое большее общество могло вполне быть сыто.

Все уселись. Пани Маковецкая заняла почетное место; по правую ее руку сел Заглоба, потом Езеровская. С левой стороны поместился Володыевский, рядом с Дрогаевской. Тут только маленький рыцарь смог разглядеть девиц.

Каждая в своем роде могла назваться красавицей. Дрогаевская была брюнетка с черными, как вороново крыло, волосами и бровями. При этом у ней были большие синие глаза и белый, необыкновенно нежный цвет лица, так что на висках даже голубые жилки просвечивали сквозь кожу. Чуть заметный черный пушок виднелся над верхней губой, как это часто бывает у брюнеток, и оттенял прелестный ротик, как бы созданный для поцелуев. Она была в трауре, который носила после смерти отца, что придавало печальное и строгое выражение ее лицу. На первый взгляд она могла показаться старше своей подруги, но Володыевский тотчас заметил, что под этой прозрачной кожей струилась юная кровь. Чем больше он смотрел, тем больше восхищался ее гордой осанкой, лебяжьей шеей и всеми ее девственными формами.

«У нее, должно быть, возвышенная душа, – думал он, – зато другая – настоящий сорванец!»

И это сравнение было очень меткое.

Езеровская была маленькая, хотя не худенькая, но гораздо ниже Дрогаевской, блондиночка с розовыми щечками. Волосы ее были обрезаны, как видно, после болезни и запрятаны в золотую сетку, из которой они выглядывали во все отверстия, как бы не желая сидеть спокойно на этой беспокойной головке; они висели на лбу до самых бровей, подобно казацкой «чуприне»; эти непокорные волосы, быстрые глазенки и задорное выражение лица придавали ей вид школьника, который только и смотрит, как бы напраказничать.

Несмотря на все это, она была так свежа и молода, что трудно было не восхищаться ею. Ноздри ее тонкого, слегка вздернутого носика раздувались поминутно, а ямочки на щеках свидетельствовали о веселом нраве.

Теперь она спокойно сидела и с аппетитом ела поставленные на стол яства, посматривая с каким-то детским любопытством то на Заглобудо на Володыевского, точно видела в них что-то особенное. Хотя Володыевский чувствовал, что ему следует занять разговором Дрогаевскую, однако он молчал, не зная с чего начать. Маленький рыцарь был вообще ловким кавалером, но теперь он был сильно опечален, так как девушки воскресили в нем воспоминание о дорогой покойнице.

Зато Заглоба вполне занимал *его* сестру, рассказывая ей о своих подвигах и о подвигах ее брата. В середине ужина он стал вдруг рассказывать о том, как они с княжной Курцевич и Жендяном убегали от целого войска татар и как они вдвоем с Володыевским бросились на отряд татар, чтобы задержать погоню и спасти княжну.

Езеровская так внимательно слушала все это, что перестала есть и, опершись подбородком на руку, поминутно встряхивала волосами. В самых патетических местах она пощелкивала пальцами и повторяла:

– Ага! Ага! Ну и что же! Что же!

Когда же Заглоба стал рассказывать о том, как драгуны Ку-шеля, подоспев нечаянно на помощь, обратили в бегство татар и преследовали их почти полмили, Езеровская не выдержала, захлопала изо всей силы в ладоши и воскликнула:

– Ах, как бы мне хотелось там быть! Ей-Богу!

– Бася, – заметила ей пухленькая пани Маковецкая, своим резким малороссийским выговором, – приехав сюда, постарайся, пожалуйста, отвыкнуть от своего «ей-Богу!» Не хватает только того, чтобы ты стала говорить «ах, черт возьми»... или «ах, чтоб меня все пули били»!..

Панночка расхохоталась своим свежим серебряным смехом и хлопнула себя по коленям.

– Ну, так пусть меня пули бьют, милая тетя!

– Господи! Уши вянут от твоих восклицаний. Ну, извинись по крайней мере перед обществом, – возмущалась сестра Володыевского.

Пани Варвара, желая начать извинения с Маковецкой, вскочила со стула, юркнула под стол, при этом сбросив нож, вилку и ложку.

Пухленькая тетушка не могла больше удержаться от смеха, смеялась же она замечательно: сначала тряслась и как-то дрыгалась, а лотом начинала тонко пищать. Все развеселились, и Заглоба был в восторге.

– Посмотрите только, что за девчонка, – повторяла, трясясь, Маковецкая.

– Прелесть что такое, ей-Богу! – говорил Заглоба.

Между тем Варвара подняла ложку и вилку и вылезла из-под стола; согнувшись под столом, она потеряла там свою сетку, и поэтому все волосы нависли ей на глаза. Она выпрямилась и, раздувая ноздри, произнесла:

– Ага! Вы смеетесь над моим замешательством!.. И отлично.

– Никто не смеется. – сказал убедительным тоном Заглоба, – никто не смеется! Мы только радуемся, что Господь послал нам такое утешение в вашем лице.

После ужина они отправились в гостиную. Там Дрогаевская увидела висевшую на стене лютню, сняла ее и стала слегка наигрывать. Володыевский попросил ее спеть, на что она отвечала просто и добродушно:

– Охотно, если только этим я развлеку вас от вашей печали.

– Благодарю вас! – отвечал маленький рыцарь и с благодарностью посмотрел на нее.

Вскоре раздалась звуки лютни, и слышалась песня:

«Поверьте, рыцарь,
Что даже панцирь
От стрел любви не защитит.
Любовь возникнет –

Сквозь сталь проникнет,
Коль купидон стрелу вонзит».

– Не знаю, право, как и благодарить вас, – говорил Заглоба Маковецкой, сидя с ней в глубине гостиной и целуя ей руки, – что вы приехали и, кроме того, привезли с собой таких милых и стройных девушек; все Грации при них могли бы показаться простыми горничными. Особенно этот мальчишка мне пришелся по вкусу; это такая вострушка и так хорошо умеет разгонять тоску, что и куннице не сумеет лучше разогнать мышей. Ведь вы знаете, что тоска, как мышь, грызет зерна наших сердечных радостей, скрытая в глубине наших сердец. Наш бывший король Ян Казимир любил меня за мои сравнения и не мог прожить без них ни одного дня, вследствие чего я должен был сочинять для него разные поговорки и мудрые изречения и говорить их ему всегда вечером, потому что он, сообразуясь с ними, вел свою политику. Но дело не в том!.. Надеюсь, что наш Миша скоро забудет о своем горе в присутствии этих красавиц. Вы не знаете, что неделю тому назад я насилу увез его из монастыря камедулов. Я добился у папского нунция такого письма, что если бы настоятель не выпустил Володыевского из монастыря, то он сделал бы всех монахов драгунами. К тому же монастырь ничего от этого не потерял. И слава Богу, что он между нами!.. Я знаю его! Вы увидите, что не сегодня, так завтра которая-нибудь из этих двух красавиц вскружит ему голову, и он воспылет к ней, как трут.

Между тем Дрогаевская продолжала петь.

«Если кольчуга
Сего недуга
Мужчин не в силах утратить,
То уж девице,
Как вольной птице.
Бог и подавно велел любить».

– И женщины боятся этой любви, как собака сала, – шепнул Заглоба своей собеседнице. – Но признайтесь, вы привезли сюда этих пташек не без цели. Это редкие девушки, в особенности этот «мальчишка», право! Хитрая у Миши сестрица, не правда ли?

Маковецкая постаралась придать своему простодушному и доброму лицу очень хитрое выражение, но это ей не удалось.

– Разумеется, пришлось подумать и о них, – сказала она, – так как мы, женщины, всегда проницательны. Мой муж приедет сюда позже, а я прихватила их с собою, потому что у нас того и гляди татары нагрянут. Если бы Мише посчастливилось в этом случае, то я бы пешком отправилась куда-нибудь на поклонение чудотворной иконе.

– Наверняка посчастливится, – сказал Заглоба.

– Обе девушки из хорошей семьи и со средствами, а это в наше время чего-нибудь стоит.

– Нечего и говорить мне этого. Володыевский ухлопал все свое состояние на войну. Только некоторые вельможи остались должны ему кое-что. Мы, милостивая государыня, не раз брали крупные деньги, и хотя все обыкновенно отдавалось гетману, однако каждый из нас получал свою часть «с сабли», как у нас говорят солдаты. Случалось, что на долю Михаила выпадало столько, что он мог бы иметь в настоящее время громадное состояние, если бы хранил все это. Но он, как истый солдат, не думает о завтрашнем дне; ему бы только кутить и, если бы не я, то Миша все бы прокутил. Вы говорите, что эти девушки знатного происхождения?

– В жилах Дрогаевской течет сенаторская кровь. Правда, наши пограничные каштелянства не то, что краковские: есть и такие, о которых мало знают в Речи Посполитой. но ведь

кто раз добился сенаторского кресла, то и его потомство может гордиться этим. Что касается Езеровской, то та по рождению выше Дрогаевской.

– Скажите, пожалуйста! Это интересно. Я люблю слушать о родословных, потому что и сам происхожу из рода масагетского короля.

– Конечно, Езеровская не такой крови, как вы, но если вы желаете послушать, то я расскажу вам. Ведь там, у нас, каждый может по пальцам перечесть родню всякого. Она приходится сродни и Потоцким, и Язловецким, и Лащам. Это родство, знаете ли, происходит таким образом.

При этом Маковецкая расправила складки своего платья и плотнее уселась, чтобы ничто не помешало ей начать свой любимый рассказ. Потом она расставила пальцы одной руки и приготовилась на них считать дедов и прадедов, загибая каждый палец указательным пальцем другой руки, и наконец начала так:

– Дочь Якова Потоцкого, Елизавета, от второй его жены Язловецкой вышла за Ивана Сметанко, подольского хорунжего.

– Так!.. – сказал Заглоба.

– От этого брака родился Михаил Сметанко, тоже подольский хорунжий.

– Гм... Прекрасное звание!

– Этот последний был женат в первый раз на Дорогостой... нет! На Рожинской. нет! На Воронич. Забыла совсем!

– Вечная ей память, – сказал Заглоба, – как бы она ни называлась.

– Второй раз он женился на Лащевой.

– Я так и думал! А какой был результат этого брака?

– Сыновья их умерли.

– Все радости непрочны на этом свете.

– Дочерей было четыре. Младшая из них, Анна, вышла за Езеровского, герба Равич, который был сначала комиссаром при размежевании Подолья, а потом, кажется, сделался подольским мечником.

– Да, я помню, он был мечником, – сказал с уверенностью Заглоба.

– Ну вот, от этого, то брака, как видите, и родилась Варвара.

– Да, вижу, также как и то, что она в настоящую минуту метится из мушкета Кетлинга. Действительно, пока Дрогаевская разговаривала с маленьким рыцарем, Бася, стоя у окна, от нечего делать надела шлем и целилась из ружья.

Видя это, Маковецкая затряслась и запищала.

– Вы не можете себе представить, сколько мне с нею хлопот! Настоящий гайдамак!

– Если бы все гайдамаки были такие, то я сейчас бы пристал к ним.

– Она только и думает о войне, лошадях и ружьях! Раз она отправилась охотиться с винтовкой на уток и залезла куда-то в камыши, вдруг смотрит, тростник раздвинулся и оттуда – что бы вы думали? Голова татарина, который прокрадывался в деревню по камышам!.. Другая бы испугалась на ее месте, а она выстрелила, и татарин упал в воду! Вообразите, она на месте его уложила, и чем? дробью.

При этом Маковецкая опять захихикала и затряслась, а затем прибавила:

– Правда, что этим она спасла нас всех, потому что за татариним шел целый отряд Вернувшись с охоты, она наделала такой суматохи, что мы все должны были спастись в лес! И всегда у нас так!..

Лицо Заглобы приняло восторженное выражение; он даже прижмурил глаз и, вскочив, подбежал к молодой девушке и поцеловал ее в лоб. Все это произошло так быстро, что Варвара не успела оглянуться.

– Это вам от старого солдата в благодарность за татарина в камышах, – сказал он при этом. Девушка по обыкновению тряхнула своими русыми волосами.

– Не правда ли, я задала ему перцу! – отозвалась она свежим детским голосом, который как-то не гармонировал с ее словами.

– Ах, милый ты мой гайдамачонок! – сказал растроганный Заглоба.

– Ну, что значит один татарин! Вы тысячи их изрубили, и немцев, и шведов, и венгров. Я ничтожество в сравнении с такими рыцарями, как вы, подобных которым нет во всей Речи Посполитой. О, я это хорошо понимаю!

– Мы будем вас учить владеть саблей, если вы такая храбрая. Правда, я уж немного тяжеловат для этого, но зато Миша мастер своего дела.

Обрадованная таким предложением, молодая девушка даже подпрыгнула от радости, потом поцеловала Заглобу в плечо и сделала реверанс маленькому рыцарю.

– Благодарю вас за обещание! Я уже умею немножко.

Но Володыевский до того был занят разговором с Дрогаевской, что как-то рассеянно проговорил:

– Я к вашим услугам, что прикажете?

Сияющий Заглоба опять уселся рядом с Маковецкой.

– Всемиловейшая государыня, – начал он. – Я знаю по опыту – так как долго жил в Стамбуле, – что восточные лакомства очень вкусны, и что много есть до них охотников, но как же, скажите мне, никто не польстился на эту конфетку?

– Что вы! Многие ухаживали за ними обеими. А Басю мы в шутку называли вдовой после трех мужей, потому что за ней в одно и то же время ухаживали три кавалера: Свирский. Кондрацкий и Цвилюховский. Все это зажиточные дворяне и из хорошей семьи, я даже могу перечислить вам всю их родословную. При этом сестра Володыевского опять расставила пальцы и приготовилась считать по ним, но Заглоба поторопился спросить.

– Что же с ними случилось?

– Всех их убили на войне, вот потому-то мы и зовем ее вдовой.

– Гм! Ну, а как же она перенесла это?

– Да, видите ли... у нас это заурядное явление, и редко кто не умирает на поле сражения. Говорят, что дворянину неприлично даже умирать иначе. Разумеется, она поплакала немножко, бедняжка, в конюшне. У нее всегда так: как только что ее опечалит – она сейчас в конюшню! Однажды я пошла туда и спрашиваю: «О ком ты плачешь?» – «О всех трех!» – отвечала она; из этого я поняла, что ей ни один из них не нравился. Я думаю, что она еще не чувствует требований природы, а поэтому и голова ее занята другим; вот Христина совсем не то, а Бася и не думает, кажется!..

– Почувствует еще и подумает, – сказал Заглоба, – мы это лучше понимаем! И скоро почувствует.

– Да, такое уж наше предназначение! – отвечала жена стольника.

– Именно! Я только что хотел то же сказать!

Разговор их был прерван приближением молодежи. Маленький рыцарь уже смело обращался с Христиной, но она, по-видимому, занимала его только из сострадания к его горю, подобно тому, как доктор занимается больным. Короткое знакомство не позволяло ей выказывать к нему того сочувствия, которое она уже начала обнаруживать. Никого, однако, это не удивляло, потому что Михаил был братом Маковецкой, а молодая девушка – родственницей ее мужа. Варвара оставалась в стороне, и только Заглоба обращал постоянно на нее свое внимание, что, по-видимому, для нее было все равно. Сначала она с удивлением смотрела на обоих рыцарей, потом восхищалась чудным оружием Кетлинга, развешанным по стенам, далее начала понемногу зевать, и глаза ее стали смыкаться, наконец она сказала:

– Теперь я как залягу спать, так разве только послезавтра проснусь.

Вскоре после этого все разошлись, потому что женщины были очень утомлены и ожидали только, пока им приготовят постели.

Когда Заглоба очутился один с Володыевским, то сначала стал ему многозначительно подмигивать, а потом понемногу толкать в бок кулаками.

– Ну, что ж ты, Миша! Точно репы объелся! А? Пойдешь, что ли, в монастырь? А эта ягодка, Дрогаевская. кажется, вкусная? И этот розовенький мальчик – тоже!.. Эх, ты... Ну, что ты скажешь, Миша?

– Что же, ничего! – отвечал маленький рыцарь.

– Но мне ужасно понравился этот мальчишка-девушка... Знаешь ли, когда я сидел подле нее за ужином, то меня так и жгло от нее, как от жаровни.

– Ну, эта еще девчонка, та гораздо солиднее.

– Дрогаевская – что слива вегнерская, настоящая венгерская слива! Но зато та – орешек!.. Ей-Богу! И если бы у меня были зубы!.. То я!.. Тьфу!.. Я хотел сказать, если б у меня была такая дочь, то я выдал бы ее только за тебя. Одно слово, миндалинка.

Володыевский вдруг вспомнил, что все эти сравнения делал Заглоба и по отношению к Анне Борзобогатой, и ему стало очень фустно. Припомнил он и ее фигуру, и маленькое личико, и темные косы, ее резвость, щебетанье и взгляд Правда, что эти девушки были моложе, но та была в тысячу раз дороже всех для него.

Маленький рыцарь закрыл лицо руками и неожиданно предался сильному отчаянию. Удивленный Заглоба сначала смотрел на него с беспокойством и молчал, а потом отозвался:

– Что с тобой, Миша? Скажи мне, ради Бога!

– Да почему же все живут, все ходят по земле. – проговорил Володыевский, – только нет одного моего ягнечка: ее одну только не увижу я больше!

Тут он не мог больше выдержать и разрыдался; опершись на скамью, он сквозь зубы произносил:

– Боже! Боже! Боже!..

Глава VII

Варвара Езеровская с нетерпением ожидала той минуты, когда она будет учиться фехтованию у Володыевского, который, конечно, не мог отказать ей в этом.

Несмотря на то, что он был влюблен в Дрогаевскую, через несколько дней, он успел полюбить и Басю; да и мудрено было не любить ее.

Однажды утром она взяла первый урок; урок этот был вызван тем, что Бася хвасталась своею ловкостью и уверяла, что она хорошо изучила фехтовальное искусство и что не всякий может сравниться с нею.

– Я училась у наших старых солдат, – говорила она, – а ведь все знают, какие у нас ловкие фехтовальщики... Пожалуй, что они не уступили бы вам.

– Что вы говорите, – вскричал Заглоба, – во всем мире нет нам равных!

– Мне бы очень хотелось, чтобы я оказалась равной вам, – конечно, я не надеюсь на себя, однако же хочется испытать.

– Вот если бы вы затеяли стрелять в цель из бандольерки, то и я бы, пожалуй, попробовала, – сказала, смеясь, Маковецкая.

– Да неужели у вас в Летичевском уезде все такие амазонки! – изумился Заглоба и спросил, обращаясь к Дрогаевской; – А вы каким оружием владеете?

– Никаким, – отвечала Христина.

– Как никаким?! – крикнула Бася и запела, копируя ее:

Поверьте, рыцарь,
Что даже панцырь
От стрел любви не защитит.
Любовь возникнет –
Сквозь бронь проникнет,
Коль купидон стрелу вонзит?.

– Вот она каким оружием владеет! – прибавила она, обращаясь к Заглобе и Володыевскому. – Не беспокойтесь, она ловка в этом искусстве!

– Выходите, сударыня! – сказал Володыевский, желая скрыть свое смущение.

– Ах, Боже мой! Если бы только так получилось, как я думаю! – воскликнула Варвара, краснея от радости.

Она стала в позицию с легкой польской саблей в правой руке, а левую заложила за спину. Подняв голову, раздув ноздри и подавшись грудью вперед, она была так свежа и прекрасна, что Заглоба вынужден был шепнуть Маковецкой:

– Самое старое, хотя бы столетнее венгерское не могло бы мне доставить большего удовольствия.

– Заметьте – сказал Володыевский, – что я буду только защищаться, а вы нападайте, сколько вам угодно.

– Хорошо. Но когда вы захотите, чтобы я перестала, то вы мне скажете.

– Положим, что вы и так перестанете, когда я захочу!

– Как это?

– Да так: я сейчас могу выбить саблю из рук всякого фехтовальщика.

– Посмотрим!

– Что ж смотреть, когда так оно и есть, но я из вежливости не позволю себе сделать этого.

– При чем тут вежливость? Вы только сделайте, что говорите. Я знаю, что у меня нет такой ловкости, как у вас, но уж саблю-то выбить вам не удастся.

– Значит, вы позволяете?

– Позволяю!

– Полно вам, милый мальчик, – сказал Заглоба. – Он это проделывал с величайшими знатоками.

– Посмотрим! – повторила Езеровская.

– Начинайте! – сказал Володыевский, которого вывело из терпения хвастовство девушки. Фехтованье началось.

Бася нападала с ожесточением, прыгая, как полевая лошадка, а Володыевский спокойно стоял и, по обыкновению, делал незаметные движения саблей, не обращая внимания на атаку.

– А! Вы парируете и отмахиваетесь от меня, как от назойливой мухи! – сказала с раздражением Варвара.

– Ведь это не состязание, а урок! – отвечал маленький рыцарь. – Хорошо! Недурно для женщины! Руку держите покойнее!

– Для женщины? Вы меня считаете женщиной! Вот вам! Вот вам!

Но как ни старалась Бася – Володыевский стоял спокойно и даже заговорил с Заглобой, чтобы показать, как мало он обращает внимания на свою соперницу.

– Отойдите от окна, а то панне Варваре темно. У ней хотя сабля не меньше иголки, однако же она владеет ею хуже, чем иглой.

Маленькие ноздри Баси раздулись еще сильнее, а волосы упали на блестящие глазки.

– Вы ни во что меня не ставите? – спросила она, прерывисто дыша.

– Только не вас лично, Боже меня сохрани!

– Терпеть вас не могу!

– Это в награду за мою науку! – отвечал маленький рыцарь и обратился к Заглобе: – Ей-Богу, мне кажется, что снег идет.

– Да, снег, снег, снег! – повторяла Бася с ожесточением.

– Довольно, Бася, будет; ты насилу дышишь, – заметила Маковецкая.

– Ну, держите же саблю, а то я ее выбью!

– Увидим!

– А вот!

И сабля, как птица, вылетела из рук Баси и упала возле печки.

– Это я сама, по нечаянности! Это не вы! – воскликнула девушка со слезами на глазах и, мигом схватив саблю, снова стала наступать.

– Попробуйте-ка теперь.

– А вот! – повторил Володыевский.

И сабля опять очутилась у печки.

– Ну, довольно, будет пока! – сказал маленький рыцарь.

Сестра Володыевского затряслась и запищала громче обыкновенного, а Бася стояла посередине комнаты взволнованная, оскорбленная и едва дышала; она кусала губы, чтобы удержать слезы, готовые хлынуть из глаз. Молодая девушка чувствовала, что все будут смеяться над нею, если она заплачет, и, видя наконец, что больше ей не выдержать, она убежала из комнаты.

– Господи! – вскричала Маковецкая. – Она, верно, в конюшню удрала!.. Еще простудится, пожалуй: она так разогрелась. Пойти разве за ней!.. Ты не ходи, Христина!..

С этими словами, она вышла из комнаты и, схватив теплую мантилью, побежала в конюшню, а за нею Заглоба, обеспокоившийся о своем «мальчике».

Дрогаевская тоже хотела бежать, но маленький рыцарь удержал ее за руку.

– Вы слышали, что вам было сказано? Я не выпущу вашей руки, пока все не вернется.

И он действительно не выпускал ее маленькой атласной ручки. Володыевскому казалось, что из ее тоненьких пальчиков льется теплая, приятная струя и проникает до костей. Он ощу-

щал невыразимое удовольствие и поэтому держал ее еще крепче. На смуглом личике Христины показался легкий румянец.

– Вижу, что я у вас в плену.

– Если бы кому попалась такая пленница, то сам султан охотно бы дал за нее полцарства.

– Но ведь вы не продали бы меня неверным!

– Точно так же, как не продал бы своей души черту.

В этот момент Володыевский смекнул, что он придает слишком большое значение минутному увлечению, и поэтому тотчас поправился.

– Точно так же я не продал бы своей сестры.

Дрогаевская отвечала с достоинством.

– Совершенно справедливо, я люблю вашу сестру, как свою, а вас постараюсь полюбить, как брата.

– От души благодарю вас, – сказал Володыевский, целуя ее руки, – я так нуждаюсь теперь в утешении.

– Знаю, знаю. – сказала молодая девушка, – я ведь тоже сирота!

При этом маленькая слезинка показалась из-под ее ресниц и повисла на пушке, который был на верхней губе девушки.

– Вы добры, как ангел! Мне уже сделалось легче.

Христина ласково улыбнулась.

– Дай Господи!

– Ей-Богу, правда!

Маленький рыцарь предчувствовал, что ему было бы еще легче, если бы удалось поцеловать эту ручку второй раз, но в эту минуту вошла Маковецкая.

– Варвара взяла мантилью. – сказала она. – Она очень сконфузилась и ни за что не хочет вернуться. Заглоба бегаёт за ней по конюшне.

Между тем Заглоба действительно бегал по конюшне за Басей и, не шая слов, утешал ее; наконец он выгнал ее на двор, думая, что она скорее согласится пойти в комнату. Но девушка убежала от него, повторяя: «А вот не пойду! Пускай себе я замерзну, но не пойду! Не пойду!» Увидав подле дома столб со ступеньками, она, как белка, взобралась на крышу и закричала оттуда:

– Хорошо, я пойду, если вы влезете ко мне!

– Ведь я не кот, чтобы лазить за вами по крышам, – отвечал Заглоба. – Вот как вы платите за мою любовь к вам?

– Я вас тоже люблю, но с крыши!

– Дед свое, а баба свое! Слезайте сейчас же!

– Нет, не слезу!

– Ей-Богу смешно, что вы все так близко принимаете к сердцу. Разве Володыевский поступил так только с вами, милая ласточка; он точно также выбивал шпагу у Кмицица, этого величайшего мастера, и то не в шутку, а на дуэли. Самые знаменитые фехтовальщики из Италии, Германии и Швеции не могли защищаться от его ударов больше пяти минут. И вдруг такая букашка вздумала обижаться. Фу! Как вам не стыдно! Ну слезайте-ка, слезайте! Ведь вы еще учитесь!

– Но я терпеть не могу Володыевского!

– Господь с вами. Неужели за то, что он превосходит вас в том искусстве, которое вы хотите изучить? Вам бы следовало любить его еще больше за это!

Заглоба был прав. Несмотря на свое поражение. Бася боготворила маленького рыцаря, но она отвечала:

– Пусть его Христина любит!

– Ну, слезайте же без разговоров!

– Не слезу!

– Ну хорошо, сидите себе, а только я скажу, что барышне не только смешно, но и неприлично сидеть на лестнице, потому что снизу очень некрасиво.

– Все нет! – отвечала Варвара, оправляя платье.

– Я, старик, пожалуй недогляжу, но я сейчас же приведу всех сюда, пускай полюбуются.

– В таком случае я слезу! – отвечала она.

Вдруг Заглоба оглянулся в сторону дома.

– Смотрите, и впрямь кто-то идет! – сказал он.

И в самом деле из-за угла показался молодой Нововейский, который, приехав верхом и привязав лошадь, обходил кругом дома, чтобы войти с парадного крыльца.

Завидев его, Езеровская мигом очутилась на земле, но увы! Было уже поздно. Нововейский заметил, как она слезла по лестнице и, покраснев, как барышня, он стоял удивленный и сконфуженный. Езеровская также переконфузилась и проговорила:

– Второе поражение.

Обрадованный Заглоба замигал своим здоровым глазом.

– Господин Нововейский, друг и подчиненный пана Михаила, а это панна Драбиновская, Тьфу! Я хотел сказать – Езеровская.

Нововейский быстро оправился и поклонился молодой девушке; он был довольно остроумен и красноречив, а потому непринужденно заговорил с девушкой, глядя в ее чудные глаза.

– Э, да что я вижу! – сказал он. – У Кетлинга в саду цветут на снегу розы!

Варвара сделала реверанс и пробурчала про себя:

– Только не для твоего носа! Затем вежливо прибавила:

– Пожалуйста в комнаты!

Она побежала вперед и, влетев в комнату, где сидел Володыевский с остальной компанией, объявила, намекая на красный мундир Нововейского:

– Снегирь приехал!

Вслед за тем она скромно села на табуретку, сложила ручки крендельком, а губки – бантиком.

Володыевский представил своего молодого товарища сестре и Христине Дрогаевской. Тот вторично сконфузился при виде еще одной хорошенькой девушки.

Поклонившись, Нововейский хотел для храбрости покрутить усы, но последние еще не выросли, и поэтому он погладил только пальцами верхнюю губу и объяснил Володыевскому цель своего приезда.

Дело было в том, что великий гетман желал тотчас же видеть маленького рыцаря, Нововейский догадывался, что гетман хотел дать ему какое-то важное поручение, потому что недавно были получены письма от Вильчковского, Сильницкого, полковника Пиво и от других комендантов с сообщениями о зловещих слухах из Крыма.

– Хан и султан Галго не желали бы нарушить Подгаецкого договора, – сказал Нововейский, – но Будяк шумит, как пчелиный рой; точно так же волнуется и белгородская орда и не хочет слушать ни хана, ни Галго.

– Собеский уже говорил мне об этом и спрашивал моего совета, – сказал Заглоба. – Ну, а что у вас слышно насчет весны?

– Говорят, что эти черви весной выползут снова и что придется опять давить их, – отвечал Нововейский.

При этом он сделал строгое выражение лица и опять стал так крутить свои бедные усы, что верхняя губа даже покраснела.

Езеровская, посмотрев на него, тотчас же заметила это и, зайдя за спину Нововейского, начала тоже крутить себе усы, передразнивая молоденького воина.

Маковецкая строго взглянула на Басю, но не выдержала и тотчас же задрожала, удерживаясь от смеха, Володыевский тоже закусил губу, а Дрогаевская так опустила глаза, что на ее щеках образовалась длинная тень от ресниц.

– Вы молодой человек, но опытный солдат, – сказал Заглоба.

– Мне двадцать два года, – отвечал юноша, – но я уже семь лет служу отечеству. Выйдя из младшего класса пятнадцати лет, я прямо поступил на службу.

– О, он хорошо знает степь, умеет прятаться в траве и внезапно нападать на татар, как коршун на куропатку, – прибавил Володыевский, – это прекрасный наездник, и татарину от него не укрыться в степи!

Нововейский покраснел от удовольствия, услышав такую похвалу от Володыевского в присутствии барышень.

Этот степной коршун был красив собою, имел смуглое загоревшее лицо, по которому проходил рубец от уха до носа, отчего нос был тоньше с одной стороны. Над быстрыми глазами, привыкшими свободно смотреть вдаль, были густые, черные брови, сросшиеся на носу наподобие татарского лука. На выбритой голове торчал в беспорядке черный чуб. Несмотря на то, что он понравился вострушке Басе и лицом, и фигурой, последняя не переставала его передразнивать.

– Как это приятно, нам, старикам, – сказал Заглоба, – что после нас останется такое достойное поколение.

– Пока еще не достойное! – возразил Нововейский.

– Люблю такую скромность! Я думаю, вам скоро станут доверять командование небольшими отрядами.

– Как же! – воскликнул Володыевский. – Он уже не раз командовал отрядами и поражал неприятеля.

Нововейский стал с таким ожесточением крутить свои усы, что чуть не оторвал себе губу.

А Бася, не спуская с него глаз, старалась подражать ему во всем.

Но вскоре догадливый воин заметил, что глаза всех были устремлены вбок, именно туда, где сидела девушка, которую он видел на лестнице. Он сообразил, что она затеяла что-нибудь против него.

И, сделав вид будто разговаривает по-прежнему, он стал опять тереть усы. Наконец, улучив минуту, молодой человек обернулся так быстро, что Варвара не успела отвернуться и спрятать руки.

Это так переконфузило молодую девушку, что она сама не знала, что ей делать, и встала со стула. Все немного смутились и замолкли. Вдруг она хлопнула себя по платью и воскликнула своим серебристым голосом:

– Третье поражение!

– Милостивая государыня, – обратился к ней Нововейский. – Я уже давно заметил, что вы строите какие-то козни против меня. Признаюсь, мне жаль, что у меня нет усов, и я, может быть, потому только не дождусь их, что умру, сражаясь за отечество, но надеюсь, что это обстоятельство вызовет у вас слезы, а не смех.

Эта искренняя речь молодого человека так смутила Езеровскую, что она стояла, потупив глаза.

– Вы должны простить ей, – сказал Заглоба, – она еще слишком молода и потому резва, зато сердце у ней золотое.

И, как бы желая подтвердить слова Заглобы, молодая девушка прошептала:

– Извините меня, пожалуйста.

Нововейский поцеловал ей руку.

– Ах, Боже мой! Зачем же вы так близко принимаете все к сердцу. Ведь я не варвар какой-нибудь. Я должен извиниться перед вами, что смутил ваше веселье. Мы, солдаты, тоже

любили дурачиться. Простите меня и позвольте мне еще раз поцеловать эти прелестные ручки. А если вы позволите мне целовать их до тех пор, пока я не получу прощения, то, ради Бога, не прощайте меня до вечера.

– Видишь, Бася, какой любезный кавалер! – сказала Маковецкая.

– Вижу! – отвечала Бася.

– Вот мы и помирились! – воскликнул Нововойский.

Говоря это, он выпрямился и хотел по обыкновению покрутить усы, но тотчас же спохватился и весело расхохотался, за ним засмеялась Бася, а за Басей все остальные. Все развеселились. Заглоба скомандовал принести меду из погреба, и началось угощение. Нововойский ерошил свой чуб, постукивал шпорами и страстно поглядывал на Басю, которая ему очень понравилась. У него явилось красноречие, и он начал рассказывать разные новости, которые слышал при дворе гетмана. Он рассказывал о конвокационном сейме и, к общему удовольствию слушателей, о том, как в сенате обвалилась печь. После обеда он уехал, и голова его была занята только Басей.

Глава VIII

Тот же день маленький рыцарь явился к гетману, который велел впустить его к себе и объявил: – Я должен послать в Крым Рушича, чтобы он следил там за тем, что делается, и чтобы хан не нарушал нашего договора. Не хотите ли поступить опять на службу и занять его место? Вы, Вильчиковский, Сильницкий и Пиво будете следить за Дорошенкой и татарами, а то ведь им нельзя довериться вполне.

Володыевскому сделалось грустно. Все лучшие годы он провел на службе, и целые десятки лет прошли в огне, в дыму, в трудах, голоде, холоде и бессонице, часто не имея не только крыши над головой, ни даже соломы для спанья. Чьей только он не проливал крови! И до сих пор все еще не женился и не отдохнул. Сколько товарищей его, бедных и менее заслуженных, добились почестей и наград и спокойно отдыхали в настоящее время, а он был гораздо богаче, когда поступал на службу, и все оставался в том же положении. Но вот он опять понадобился, и его, как старую метлу, хватают, чтобы мести снова. Душа его была истерзана, и теперь, когда нашлась дружественная рука, которая начала перевязывать и лечить его душевные раны, ему вдруг предлагают бросить все это и лететь в пустынную и отдаленную окраину Речи Посполитой, нисколько не обращая внимания на его душевную скорбь и муку. Если бы только не было этих командировок и этой службы, то он мог бы пожить по крайней мере годика два со своей Анусей.

Горько сделалось Володыевскому, когда он так раздумывал, но объяснять все это гетману казалось ему делом недостойным рыцаря, а потому он коротко отвечал:

– Хорошо, я поеду.

– Не состоя на службе, вы можете отказаться, – заметил гетман. – Вам, может быть, не хочется сейчас туда ехать.

– Мне и до смерти не долго осталось жить! – возразил Володыевский.

Собеский долго ходил по комнате, наконец остановился перед маленьким рыцарем и, дружески положив ему руку на плечо, сказал:

– Если ваши слезы еще не высохли по вашей невесте, то степной ветер высушит их. Погоревали вы в своей жизни довольно, да нечего делать, погорюйте еще. Если когда-нибудь посетят вас невеселые мысли, что все о вас забыли, что вы не выслужили себе ни наград, ни отдыха, что вместо вкусных яств у вас только черный хлеб, вместо наград – раны, а вместо отдыха – мука, то скажите, скрепя сердце: «Тебе, о родина!» Теперь ничего больше не могу сказать вам в утешение, а скажу только, хоть я и не пророк, что вы дальше уедете на своем вытертом седле, чем многие другие в роскошных каретах, запряженных шестеркой лошадей, и что найдутся такие двери, которые откроются для вас, но не для них.

«Тебе, о родина!» – повторил в душе Володыевский, удивляясь в то же время, как гетман мог угадать его сокровенные думы; тем временем Собеский уселся против маленького рыцаря и продолжал:

– Я буду говорить с вами не как с подчиненным мне лицом, но как с другом, даже больше! Как отец с сыном! Еще в то время, когда мы с таким трудом боролись с неприятелем у Подгаец и на Украине, а здесь, в сердце края, огражденные нашими плечами, злые люди ловили рыбу в мутной воде, мне не раз думалось, что Речь Посполитая должна погибнуть, потому что своеволию и личным интересам приносится в жертву общественное благо и порядок. Ни в одном государстве нет ничего подобного и в такой степени возмутительного. Эти тревожные мысли преследовали меня; и днем, и ночью, и в поле, и в палатке мне все думалось: «Положим, мы, солдаты, погибаем, считая это своим долгом. Но, если бы мы за это имели хоть то утешение, что кровь, которая течет из наших ран, послужила спасением для отечества. Так нет же! Не было и этого утешения!» Ох, тяжелое переживал я время у Подгаец, хотя старался казаться

вам веселым и довольным, чтобы вы не подумали, что я усомнился в победе. «Нет людей, – думал я, – нет людей, истинно любящих отечество». И мысль эта, как острый нож, врезалась мне в грудь! И вдруг однажды, это было в последний день в подгаецком обозе, – когда я послал двухтысячный отряд против двадцатитысячной орды, вы так охотно и с такими веселыми возгласами полетели на верную смерть, что я невольно подумал: «А, это мои солдаты», – и в ту же минуту Господь снял тяжелый камень с моего сердца, и я повеселел. «Вот эти, – сказал я, – гибнут только из-за любви к отечеству, они не изменят и не перейдут на сторону неприятеля. Они составят священный союз и школу, в которой будет учиться молодое поколение. Их пример, общество и преданность повлияют на край так, что бедный народ переродится, забудет домашние невзгоды и неурядицы и, как мы, восстанет сильный и смелый на удивление всему миру». Вот такое братство я мечтал сделать из моих солдат.

Собеский воодушевился, поднял голову, подобно римскому цезарю, и, простирая руки, воскликнул:

– Господи! Не пиши на наших стенах «мене, текел, фарес»¹⁰! А позволь мне спасти мое отечество, возродить его!

Наступило молчание.

Маленький рыцарь сидел, свесив голову и чувствуя, что дрожь пробегает по всему его телу.

Тем временем гетман прошелся по комнате и, остановившись перед маленьким рыцарем, продолжал:

– Нам нужен наглядный пример, такой пример, который бы обратил на себя внимание. Послушайте, Володыевский, я вас причислил первым к этому союзу. Хотите ли вы участвовать в нем?

Маленький рыцарь встал и, наклонясь, обнял колени гетмана.

– О! – сказал он взволнованным голосом. – Я счел себя обиженным, когда услышал, что мне опять надо ехать и что мне не дали оправиться от моего горя, но теперь я вижу свою ошибку и... каюсь, что возымел такую мысль, я не могу говорить, потому что мне стыдно.

Гетман молча обнял его и прижал к своей груди.

– Теперь нас только маленькая горсть, – сказал он, – но скоро все остальные последуют нашему примеру.

– Куда мне ехать? – спросил маленький рыцарь. – Могу и в Крым, я уже бывал там.

– Нет, – сказал гетман. – Туда я пошлю Рущича, там у него есть побратимы и однофамильцы, кажется, даже двоюродные братья, которых татары взяли в плен еще детьми, обасурманили и дали им важные должности. Они помогут ему во всем, а вы нужны в поле, потому что вряд ли кто умеет так хорошо драться с татарами, как вы.

– Когда же мне ехать? – повторил маленький рыцарь.

– Не позже чем через две недели. Мне надо поговорить с коронным подканцлером и с подскарбием, лотом приготовить письма и инструкции для Рущича. Но вы будьте готовы на всякий случай, а то я буду спешить.

– Завтра же я буду готов!

– Спасибо за готовность, но вы так скоро еще не понадобится! Опять же вам не придется надолго уехать, потому что вы мне нужны будете во время элекции. Вы слышали о кандидатах? Ну, что говорят об этом дворяне?

– Я только что вышел на свет Божий из монастыря, а там не думают о мирских делах, и знаю только, то, что мне сказал Заглоба.

– Правда, я могу все это узнать от него. Его очень все уважают. А вы за кого дадите голос?

¹⁰ «Мене, текел, фарес» (по другой версии – «мене, мене, текел, упарсин») – по преданию, слова, появившиеся на стене в разгар пира, устроенного вавилонским царем Валтасаром, и предрекавшие гибель и раздел Вавилона.

– Еще сам не знаю, думаю только, что нам бы надо было воинственного монарха.

– Да, да, вот именно! У меня есть такой на примете... одно его имя способно навести панику на соседей. Нам надо воинственного короля, как Стефан Баторий¹¹. Ну, будь здоров, солдатик!.. Да, нам надо воинственного монарха. Вы всем это говорите. До свидания. Господь да наградит вас за вашу готовность!

Михаил попрощался и вышел.

Дорогой он стал обдумывать свой разговор с гетманом и порадовался, что ему дали две недели срока, потому что он так отрадно и хорошо себя чувствовал в обществе Христины Дрогаевской. Радовало его и то, что он вернется в Варшаву на выборы. Вообще Володыевский возвращался домой вполне успокоенный. Степь также имела для него свою особенную прелесть и очарование. Маленький рыцарь, сам того не сознавая, грустил по ней. Он привык к неизмеримому простору этих попей, где каждый казак чувствует себя птицей, а не человеком.

«Эх, – говорил он про себя, – поеду в эти безграничные степи, в эти станции и к могилам, опять окупнусь в прежнюю жизнь, опять стану делать набег и, как журавль, бушуя весною в траве, оберегать границы. Да, поеду, непременно поеду».

И он пустил вскачь своего коня: ему хотелось опять испытать прежние ощущения и свист ветра в ушах.

Была сухая, морозная погода. Твердый снег покрывал землю и скрипел под ногами коня, который выбрасывал твердые комки снега из-под копыт. Володыевский так летел, что слуга его остался далеко позади.

День клонился к вечеру; заря светила еще на небе, бросая фиолетовую тень на снежное пространство. Первые мерцающие звезды и серебряный серп месяца появились на румянном небе. Рыцарь все летел по пустынной дороге, изредка перегоня какой-нибудь воз и, наконец завидев дом Кетлинга, приостановил коня, чтобы слуга догнал его.

Вдруг он увидел, что какая-то стройная женщина идет к нему навстречу. Это была Христина Дрогаевская.

Узнав ее, Володыевский спрыгнул с коня и отдал его слуге, а сам побежал ей навстречу; он был удивлен, но еще более обрадован, видя ее перед собою.

– Солдаты говорят, – начал он, – что на заре можно встретить сверхъестественных существ, которые могут предвещать дурное или хорошее, но для меня не может быть большего счастья, как встреча с вами.

– Господин Нововейский приехал, – отвечала девушка, – и теперь занят с Басей и тетей, а я нарочно вышла к вам навстречу, потому что я ужасно беспокоилась о том, что вам скажет гетман.

Это чистосердечное признание тронуло маленького рыцаря.

– Неужели вы и впрямь так беспокоились обо мне? – спросил он, смотря ей в глаза.

– Да, – отвечала Христина.

Никогда еще она не казалась Володыевскому такой красивой, как в эту минуту, и он не спускал с нее глаз. Белый мех атласного капора окаймлял ее кроткое бледное личико, на котором при свете луны так ясно вырисовывались темные брови, опущенные вниз глаза, длинные ресницы и едва заметный пушок над губами. Лицо ее выражало спокойствие и доброту.

В эту минуту Володыевский понял, что значит «сердечный друг», и поэтому сказал:

– Если бы не было слуги, который едет за нами, то я тотчас бы, вот на этом снегу, стал на колени и поклонился вам в ноги от благодарности.

– Не говорите так, – отвечала она. – Я не стою поклонов, но в награду лучше скажите мне, что вы остаетесь с нами и что я буду еще утешать вас!

¹¹ Стефан Баторий (1533–1586) – польский король и полководец, участник Ливонской войны 1558–83 гг.

– Нет, не останусь, – отвечал Володыевский.

Христина вдруг остановилась.

– Не может быть!

– По долгу службы я поеду на Русь, в дикие степи.

– Долг службы?.. – повторила Христина.

И, замолчав, торопливо пошла к дому. Несколько смущенный Володыевский шагал рядом с ней, и на душе у него было тяжело и глухо. Он хотел что-то сказать, вернуться к прежнему разговору, но это ему не удавалось.

Теперь-то и следовало, по его мнению, сказать Христине многое, так как они были одни и никто не мешал им.

«Лишь бы только начать, – думал он, – а там уже пойдет само собой.»

– А Нововойский давно приехал? – спросил он внезапно.

– Кажется, недавно. – отвечала Дрогаевская.

И разговор опять прервался.

«Нет, не с этого надо начинать, – подумал Володыевский, – так я никогда не скажу того, что хочу. Видно, горе лишило меня красноречия».

Он молча шел за Дрогаевской, и его усики все больше шевелились.

Перед самым домом он наконец остановился и выпалил:

– Я слишком долго ждал своего счастья, служа отечеству, так разве теперь я не могу принять вашего утешения?

Володыевскому казалось, что этот простой аргумент должен сразу подействовать на Христину, но она печально и кротко отвечала:

– Чем больше я узнаю вас, тем больше ценю и уважаю.

Сказав это, она вошла в дом. Еще в сенях слышались возгласы Езеровской, которая кричала: «Алла! Алла!»

Войдя в гостиную, они увидели Нововойского с завязанными глазами и вытянутыми руками, который старался поймать молодую девушку, но та пряталась во все углы, объявляя о своем присутствии возгласами «Алла!» Маковецкая разговаривала с Заглобой.

Игра эта была прервана приходом Христины и маленького рыцаря. Нововойский сбросил платок и побежал к ним навстречу, Заглоба, сестра рыцаря и запыхавшаяся Бася начали наперебой его расспрашивать.

– Ну что? Что сказал гетман?

– Если хотите, сестрица, послать письмо к мужу, то можете передать его через меня: я еду на Русь, – сказал Володыевский.

– Тебя уже посылают! О Господи!.. Зачем ты обременяешь себя такими поручениями? Не езд, – жалобно заговорила Маковецкая. – Ни минуточки отдохнуть не дали!

– Тебя в самом деле командировали на Русь? – спросил с грустью Заглоба. – Правду сказала пани Маковецкая, что тобой можно вертеть как угодно.

– Рушич едет в Крым, а я займу его место и буду командовать его отрядом, потому что весною наверняка зачёрнеют дороги от татар, как говорил Нововойский.

– Неужели мы одни должны стеречь Речь Посполитую, как собаки стерегут двор своих господ от воров! – воскликнул Заглоба. – Многие не знают, с какой стороны стреляют из мушкета, а нам и отдохнуть некогда.

– Перестань! Не стоит об этом говорить! – отвечал Володыевский. – Служба прежде всего! Я дал гетману слово, что отправлюсь туда, и должен исполнить его раньше или позже...

При этом Володыевский приложил палец ко лбу и повторил тот же аргумент, которым думал убедить Христину.

– Видите ли, господа, я долго ждал своего счастья, потому что служил отечеству, и теперь могу ли я отказаться от этого счастья, которое испытываю, находясь с вами.

Никто не возражал, только одна Езеровская надула губки и сказала, как капризное дитя:

– Как жаль пана Володыевского!

Маленький рыцарь весело расхохотался.

– Ах, какая вы шутница! Ведь вы еще вчера сказали, что ненавидите меня, как дикого татарина!

– Ну, вот еще! Я вовсе и не думала говорить «как дикого татарина!» Вы будете там биться с татарами, а мы здесь – скучать.

– Успокойтесь, милый мальчик; извините, что я вас так называю, но словно это ужасно идет вам. Гетман обещал скоро вернуть меня оттуда. Через неделю или две я уеду, а на элекцию непременно вернусь в Варшаву, потому что сам гетман так хочет, даже если Руцич не вернется из Крыма к маю месяцу.

– Ах, как это хорошо!

– Вероятно, и я поеду со своим полковником, – сказал Нововейский, пристально глядя на Варвару.

– Без вас наберется достаточно, – возразила она. – Но, я думаю, приятно служить под начальством такого хорошего командира! Поезжайте, поезжайте!.. Пану Володыевскому будет веселее с вами.

Молодой человек вздохнул и провел широкой рукой по волосам, потом расставил руки, как бы играя в жмурки.

– Но прежде всего я поймаю вас, панна Варвара, ей-Богу, поймаю.

– Алла! Алла! – закричала Варвара, убегая.

В это время Дрогаевская подошла к маленькому рыцарю с отпечатком тихой радости на лице.

– Нехороший вы, право; для Баси вы добрее, чем для меня!

– Это я – нехороший? Я добрее для Баси? – спрашивал с удивлением рыцарь.

– Басе вы сказали, что вернетесь на элекцию, а мне нет. А я так опечалилась, что вы уезжаете.

– Ах, мое золот... – воскликнул Володыевский. Но тотчас же спохватился и прибавил:

– Дорогой мой друг! Я сказал вам так мало потому что совсем потерял голову.

Глава IX

Володыевский понемногу собирался в путь; он не переставал давать уроки Езеровской, которую очень полюбил, и не оставлял прогулок с Христиной, ища утешения в ее словах. Казалось, что спокойствие начало возвращаться в его наболевшее сердце, и расположение духа делалось с каждым днем лучше. По вечерам он принимал иногда участие в играх Варвары с Нововойским. Этот молодой человек сделался постоянным гостем в доме Кетлинга. Обыкновенно он приезжал с утра или после обеда и просиживал до вечера, и так как все полюбило его, то скоро на него стали смотреть как на члена семьи. Он ездил с дамами в Варшаву, исполняя разные их поручения, а по вечерам играл с увлечением в жмурки, повторяя, что должен поймать ловкую девушку перед отъездом. Но Варвара всегда успевала увернуться, хоть Заглоба и говорил ей:

– Попадетесь в конце концов кому-нибудь. Не он, так другой поймает вас.

Было, однако же, очевидно, что именно этот молодой человек старался поймать ее. Даже девушка, казалось, догадывалась о том и иногда так задумывалась, что волосы ее совсем закрывали глаза. Заглобе не нравилось это ухаживание, и у него была на то особая причина. Однажды вечером, когда все разошлись, он постучался в комнату маленького рыцаря.

– Мне так жаль, что мы должны расстаться, и я пришел еще раз посмотреть на тебя. Бог весть, когда придется нам свидеться!

– Я непременно приеду сюда на элекцию. – отвечал Володыевский, обнимая Заглобу. – И вот почему: гетман хочет, чтобы мы набрали побольше голосов для его кандидата. И так как я, слава Богу, пользуюсь любовью шляхты, то гетман желает видеть меня здесь. Он также надеется и на вас.

– Ба! Задумал он ловить меня большим неводом, но я думаю, что, несмотря на свою толщину, проскользну как-нибудь сквозь отверстие этой сети. Я не стану держать сторону француза!

– Отчего же?

– Потому что это была бы абсолютная глупость.

– Конде, как и каждый другой, обязан присягнуть и охранять законы Речи Посполитой. А полководец он известный.

– Нам, слава Богу, незачем искать королей во Франции. У нас Собеский не хуже Конде. Заметь, Миша, что французы, как и шведы, носят чулки, а потому, верно, и те и другие не умеют сдерживать присяги. Карл Густав готов был присягать каждую минуту. Для них это так легко, как орех раскусить. Но что в той присяге, когда нет чести!

– Надо же однако защитить Речь Посполитую! Вот если бы жил еще князь Иеремия Вишневецкий, то мы все единогласно избрали бы его и присягнули ему.

– А сын *его*, та же кровь?

– Да, но это уже не то! Жаль даже смотреть на него, он больше похож на простолюдина, чем на князя, особенно такой крови. В другое время, конечно, но не теперь, когда на первом плане должна быть польза для отечества. Скшетуский вам то же самое скажет. Во всяком случае, я буду делать то же, что гетман, потому что я верю, как в Евангелие, в его искреннюю привязанность к отечеству.

– Пора бы теперь подумать об этом, но нехорошо, что ты уезжаешь.

– А вы что будете делать?

– Я уеду к Скшетуским. Мне скучно, когда я долго не вижу их.

– Если после выборов будет война, то Скшетуский наверняка пойдет с нами. И вы, пожалуйста, не выдержите. Может быть, придется воевать вместе на Руси. Много мы там всего перевидали.

– Правда! Ведь, ей-Богу, мы провели там лучшие годы своей жизни. Хотелось бы иногда взглянуть на те места, которые были свидетелями нашей славы.

– Так поезжайте теперь вместе со мной. Нам будет весело, а там через пять месяцев мы опять вернемся к Кетлингу, тогда и он приедет, и Скшетуские.

– Нет, Миша, я не поеду теперь, зато когда ты там женишься на богатой, то я обещаю поехать туда с тобой, чтоб водворить вас на новом местожительстве.

– Где мне думать о женитьбе; вы сами видите, что я иду на войну.

– Вот это-то меня и убивает, потому что я все думал: не одна, так другая приглянется тебе. Миша, ради Бога, подумай о себе, где ты найдешь лучший случай, чем в настоящую минуту. Помни, что настанет время, когда ты скажешь: у всех есть жены, дети, а я, как пень, торчу один в поле. И скучно, и горько делается тебе. Если б ты еще женился на Анусе и она оставила тебе детей, а то может случиться, что вокруг тебя не будет ни одной души, которая пожелала бы тебе добра, так что ты поневоле спросишь: не на чужбине ли я?

Володыевский молчал и думал, а Заглоба, глядя в лицо маленького рыцаря, продолжал:

– Сердце мое выбрало для тебя этого розового мальчика, потому что, во-первых, это золото, а не девушка; во-вторых, вы произвели бы таких здоровых солдат, каких свет не видал доньше.

– Это ветер!.. Впрочем, за ней уж Нововойский ухаживает.

– Вот то-то и есть! Теперь она согласилась бы выйти за тебя, потому ей лестно, что ты так знаменит, а потом, когда ты уедешь и он останется здесь, – а я знаю наверное, что он, шельма, останется, – совсем будет не то; он останется, потому что это еще не война, а Бог вещь что такое.

– Бася ветреница! И пускай она достанется Нововойскому!.. Это хороший малый.

– Миша! – сказал с мольбой Заглоба. – Подумай только, какое бы вышло от вас поколение.

Маленький рыцарь ответил на это очень наивно.

– Я знал двух славных солдат Балю, которые родились от Дрогаевской.

– Гм! Я так и знал! Так вот куда ты речь повел? – крикнул Заглоба.

Володыевский чрезвычайно сконфузился, долго шевелил усиками, желая скрыть свое смущение, и наконец проговорил:

– Что вы говорите! Я так только вспомнил, потому что у Баси совсем солдатские замашки, и что у Христины больше женственности. Они всегда вместе, так что когда говоришь об одной, то другая невольно приходит на ум.

– Ну хорошо, хорошо! Дай вам Бог счастья с Христиной, хотя, ей-Богу, если бы я был молодым, то влюбился бы в Басю. В случае войны такую жену незачем оставлять дома; она всегда может быть с мужем. Она пригодится тебе и в палатке, а когда придет ей время, хотя бы во время битвы, то она будет стрелять хоть одной рукой. Зато какая она честная, добрая! Эх, мой милый мальчик! Не сумели тебя оценить, но если бы я был лет на шестьдесят моложе, то я бы знал, кто будет панна Заглоба.

– Я ведь не говорю, что Бася хуже Христины, и не отрицаю ее достоинств!

– Дело не в том, что ты отрицаешь или не отрицаешь ее достоинства, но в том, что ей нужен муж. Но ведь тебе нравится Христина!

– Я считаю Христину другом.

– Другом, а не подругой? Разве только потому, что она с усами? Друзья твои – это я, Скшетуский и Кетлинг, но тебе нужны не друзья, а подруга, ты бы так и говорил сразу. Эй, берегись, Миша, друга-женщины, хотя бы и с усиками, потому что кто-нибудь из вас предаст другого. Дьявол всегда бодрствует в таких случаях и охотно готов помогать таким друзьям, – например, Адам и Ева до того подружились, что у Адама костью в горле стала эта дружба.

– Прошу вас не оскорблять Христину, потому что я этого не позволю.

– Бог с нею! Я всегда скажу, что она добрая девушка, но что мой мальчик не в пример лучше ее. Не в обиду будь ей сказано, что когда ты сидишь с ней рядом, то и щеки-то у тебя горят, как в огне, и усики шевелятся, и чуб топорщится, и солишь ты, и переминаешься, и топчешься, как лесной голубь, а все это признак страсти. Говори кому хочешь о дружбе, а меня, старого воробья, не проведешь.

– Да, именно старого, потому что вы видите даже то, чего нет.

– Дай-то Господи, чтобы я ошибся! Чтобы он увлекся моим мальчиком!.. Спокойной ночи, Миша. Бери мальчика, он лучше! Бери, бери его! – С этими словами Заглоба встал и ушел из комнаты.

Володыевский метался всю ночь, не будучи в состоянии уснуть от беспокойных дум. Казалось, он смотрел в глаза Дрогаевской с длинными ресницами и видел темный пушок на ее губах. Подчас его одолевала дремота, но видение не исчезало. Проснувшись, он думал о словах Заглобы и о том, как он ловко умел все подметить. То мелькало ему в полусне румяное личико Баси, и он успокаивался, но вдруг, на смену Басе, являлась Христина, и наш бедный рыцарь поворачивался к стене; там он видел ее глаза, поворачивался на другую сторону и опять видел ее глаза, томные и как бы ободряющие его; по временам они закрывались, как бы говоря: «Пусть будет по-твоему!» При этом Володыевский даже садился на кровати и набожно крестился.

К утру он совсем выбился из сна; ему сделалось тяжело, досадно и даже стыдно: он стал себя упрекать в том, что видит не ту, горячо любимую покойницу, но думает и видит только эту, другую. Он воздерживался от этих, по его мнению, преступных мыслей и, вскочив с постели, стал читать утренние молитвы, хотя было еще темно.

Кончив молитву, он приложил палец ко лбу и про себя сказал: «Надо уезжать поскорее отсюда и подавить в себе эти дружеские порывы, а то Заглоба, пожалуй, окажется прав...»

Успокоенный этими мыслями, Володыевский явился к завтраку. После завтрака он фехтовал с Варварой и в первый раз заметил, что она была поразительно хороша с этими раздутыми ноздрями и волнующейся грудью. Маленький рыцарь старался избегать Христины, которая, заметив это, следила за ним широко раскрытыми от удивления глазами. Но он избегал даже ее взгляда и выдерживал до конца, несмотря на то, что сердце его разрывалось надвое.

После обеда Володыевский отправился с Варварой в кладовую Кетлинга, где был еще склад оружия; там он показывал молодой девушке оружие и объяснял способ его употребления; потом они стреляли в цель из астраханских луков.

Довольная и счастливая этим, девушка разошлась донельзя, так что Маковецкой пришлось унимать ее.

Так прошел день, второй, а на третий маленький рыцарь с Заглобой отправились в Варшаву, чтобы узнать во дворце Даниловича о том, когда придется ехать на Русь. Вечером Володыевский объявил дамам, что через неделю он уезжает.

Он старался говорить об этом небрежно и весело, причем посмотрел даже на Христину.

Молодая девушка обеспокоилась этим и попробовала было расспрашивать его о разных вещах; Володыевский отвечал вежливо и дружелюбно на все ее вопросы, но не отходил от Варвары.

Заглоба потирал от удовольствия руки, думая, что это последствие его советов. Но так как ничто не могло от него укрыться, то он заметил и печаль Христины.

«Обеспокоилась, бедная, обеспокоилась, – думал он. – Досадно ей, как видно! Ну, ничего! Это всегда так у женщин. Ну, молодец Миша: я и не думал, что он так скоро обратится на путь истинный. Это добрый малый, только ужасно непостоянен в любви, да и останется таким всегда!»

Но Заглоба был очень добр, и поэтому ему тотчас же сделалось жаль Христину.

«Прямо-то я ей ничего не скажу, – подумал он, – а придумаю какое-нибудь утешение». И, пользуясь правом седовласого старца, он подошел к ней после ужина и стал гладить ее по черным шелковистым волосам. Девушка сидела тихо, изредка приподнимая на него свои кроткие, благородные глаза и немного удивляясь такой неожиданной нежности.

Вечером, у дверей комнаты Володыевского, Заглоба толкнул его в бок.

– А что? – сказал он. – Ведь мальчик лучше?

– Милый ребенок! – отвечал Володыевский. – Она одна наделает в комнатах больше шуму, чем четыре солдата; настоящий барабанщик!

– Барабанщик? Дай-то Господи, чтобы она поскорее ходила с твоим барабаном!

– Спокойной ночи!

– Спокойной ночи! Странные эти женщины! Ты не заметил, как Христина огорчилась, что ты больше занялся Басей?

– Нет... я не обратил внимания! – отвечал маленький рыцарь.

– Как будто кто ее с ног сбил!

– Спокойной вам ночи! – повторил Володыевский и быстро ушел в свою комнату.

Как ни был ветрен маленький рыцарь в глазах Заглобы, однако последний сделал неловкий промах, говоря ему о беспокойстве Христины: это до того взволновало Володыевского, что речь его так и остановилась в груди.

«Так вот как я ее благодарю за доброту и сочувствие! – рассуждал он сам с собою. – Ба! Да что же я сделал ей худого! Что? Я три дня не обращал на нее внимания, а это было даже невежливо! Я пренебрег милой девушкой, любимым существом! И это за то, что она хотела лечить мои душевные раны!.. Скверно же я отблагодарил. Ах, если бы я мог удержаться от нашей опасной дружбы и не выказывать ей пренебрежения, но, как видно, я неспособен на такую политику.»

Володыевский был зол на себя, и вместе с тем ему сделалось жаль девушку, о которой он невольно думал как о любимом и обиженном существе. Досада против самого себя росла в нем каждую минуту.

«Я варвар и больше ничего!» – повторил он.

И образ Христины вытеснил мысль о Варваре. «Нет, пусть кто хочет женится на этой ветренице, трещотке, болтушке, – говорил он себе, – мне все равно, будь это Нововейский или сам дьявол».

Он злился и досадовал на бедную Басю, но ни разу не подумал, что может обидеть ее больше своим гневом, чем Христину напускным равнодушием.

Женский инстинкт подсказал Христине, что с Володыевский совершается какой-то переворот. Ей было отчасти досадно и горько, что маленький рыцарь старался избегать ее, но она чувствовала, что должно что-то совершиться, после чего они не будут дружить по-прежнему, но гораздо больше или совсем перестанут.

Ею овладевало беспокойство, когда она думала о скором отъезде Володыевского. Христина еще не чувствовала сознательной любви, но в сердце ее и в крови была полная готовность любить.

Очень возможно, что ее опьяняла слава Володыевского как первого воина в Речи Посполитой. Все рыцари вспоминали с почтением его имя; сестра превозносила его честность до небес; его несчастье придавало ему особую прелесть, и вдобавок, живя с ним под одной кровлей, девушка привыкла к его маленькой фигурке.

Христине нравилось, чтобы ее любили, и поэтому равнодушие Володыевского в последние дни страшно ее огорчало. Природная доброта девушки не позволяла ей обнаруживать ни нетерпения, ни досады, и она решила покорить рыцаря своей добротой.

План ее удался как нельзя лучше, потому что на следующий день Володыевский казался смущенным и не только не избегал взгляда Христины, но даже смотрел ей в глаза, как бы говоря: «Извини, что я вчера пренебрегал тобою».

Взгляд рыцаря был до того выразителен, что кровь прилиwała к лицу молодой девушки, и она сильнее беспокоилась, предчувствуя: скоро должно совершиться что-то важное. Так и случилось. После обеда Езеровская и Маковецкая поехали к ее родственнице, жене львовского подкомория, которая гостила в Варшаве, Христина же притворилась больной; она хотела узнать, что скажет ей Володыевский, когда останется с нею наедине.

Заглоба тоже остался и пошел по обыкновению вздремнуть часа на два после обеда. Он утверждал, что этот отдых придает ему бодрости и остроумия, и потому, побалагурив еще часик, он ушел в свою комнату. Сердце Христины сильно забилося.

Но каково же было ее разочарование, когда она увидела, что Володыевский тоже встал и ушел за Заглобой.

«Сейчас придет», – подумала Христина. И, взяв пяльцы, стала вышивать золотом доньшко для шапки, которую она хотела приподнести Володыевскому перед отъездом.

Она смотрела поминутно на данцигские часы, стоявшие в углу гостиной. Прошел час, другой, а Володыевский не показывался.

Девушка перестала вышивать, скрестила на пяльцах руки, и сказала вполголоса:

– Он боится, но пока он осмелится, наши могут приехать, и мы ничего не скажем друг другу, к тому же и Заглоба может проснуться.

В эту минуту ей казалось, что им в самом деле надо поговорить о важном деле, чего они не успеют сделать из-за медлительности Володыевского.

Наконец в соседней комнате послышались его шаги.

– Он не решается войти, – подумала молодая девушка и усердно принялась вышивать.

Володыевский действительно не решался войти и ходил по комнате. День уже близился к вечеру, и солнце делалось красным.

– Пане Володыевский! – позвала вдруг Христина.

Он вошел и застал ее за шитьем.

– Вы меня звали?

– Я хотела убедиться, нет ли здесь кого чужого. Я часа два сижу здесь одна.

Володыевский придвинул стул и сел на самом краю.

Долго сидели они; маленький рыцарь молчал, шаркал ногами, стараясь задвинуть их подальше под стул, и шевелил усиками.

Христина перестала шить и взглянула на него; взоры их встретились, и они вдруг оба смутились и опустили глаза.

Когда Володыевский поднял их снова, то лицо Христины, освещенное последними лучами солнца, было прекрасно, а волосы в изгибах блестели, как золото.

– Вы уезжаете через два дня, – сказала она так тихо, что Володыевский насилу расслышал ее слова.

– Нельзя иначе!

Они опять замолчали, потом Христина продолжала:

– Мне показалось, что вы в последнее время сердитесь на меня.

– Бог с вами! – вскричал Володыевский, – Если б я сердился, то не смел бы взглянуть на вас, но дело не в том.

– А в чем? – спросила Христина, подняв на него глаза.

– Скажу вам откровенно, а я думаю, что откровенность лучше притворства, но. но я не могу высказать, как приятно и отраднo мне было с вами и как я в душе был вам благодарен!

– Ах, если бы так было всегда! – отвечала Христина, сложив на пяльцах руки.

– Да, если бы всегда так было, – с грустью отвечал Володыевский. – Но Заглоба сказал мне (сознаюсь вам, как на исповеди). Заглоба сказал, что дружба с женщиной очень опасная вещь, и подобно тому, как огонь может скрываться в золе, так другое чувство может скрываться под видом дружбы. Тогда я подумал, что Заглоба, пожалуй, совершенно прав, и – простите мне, простому солдату, – другой бы поступил как-нибудь поделикатнее, а я... у меня сердце обливается кровью, когда подумаю, как я поступал с вами в последние дни... я и сам не рад этому...

Сказав это, Володыевский быстро зашевелил усиками.

Христина свесила голову, и две слезинки показались на ее ресницах.

– Если вам будет легче, когда я не буду обнаруживать своих братских чувств, то я постараюсь скрыть их.

И вторая пара слез, а за нею и третья, повисли на щеках Этого уж Володыевский не мог вынести: сердце его разрывалось, он бросился к Христине и схватил ее руки. Вышивание полетело, но рыцарь, не обращая ни на что внимания, начал целовать ей пальцы.

– Не плачьте! Ради Бога, не плачьте! – говорил он, не переставая покрывать поцелуями ее руки даже тогда, когда она забросила их за голову, как это обыкновенно делают люди, находящиеся в глубоком горе; напротив, он целовал их еще горячее, пока жар от лба и волос не опьянил его до одурения.

Наконец, он сам не знал, как и когда, губы его коснулись ее лба и стали целовать его, потом – ее заплаканных глазок, отчего у него все вдруг завертелось в голове; вслед за тем он почувствовал нежный пушок ее губ, и уста их невольно слились в продолжительном поцелуе. В комнате было совсем тихо, только один маятник гданьских часов монотонно стучал, напоминая им о существовании времени.

Вдруг в передней раздалось топанье ног и детский голосок Варвары, которая повторяла;

– Мороз! Мороз! Мороз!

Володыевский отскочил от Христины, как испуганная рысь от своей жертвы, но в эту же минуту влетела Бася, повторяя:

– Мороз! Мороз! Мороз!

Вдруг она споткнулась о пальцы Христины, лежавшие на середине комнаты, и, остановившись, посмотрела с удивлением на Христину и на маленького рыцаря.

– Что это? Никак вы бросали друг в друга этими пальцами!

– А где же тетя? – спросила Дрогаевская, стараясь говорить как можно спокойнее и натуральнее.

– Тетя потихоньку вылезает из саней, – отвечала неестественным тоном Варвара.

И ее подвижные ноздри задвигались. Она еще раз взглянула на Христину и на Володыевского, который поднимал в это время пальцы, и быстро вышла из комнаты. Но в ту же минуту ввалилась в комнату Маковецкая, а за нею Заглоба, который явился сверху, и начался разговор о жене львовского подкомория.

– Я не знал, что она крестная мать Нововойского, – сказала Маковецкая. – Он, вероятно, признался ей в своих чувствах, потому что она страшно преследовала им Басю.

– А что же Бася? – спросил Заглоба.

– Бася хоть бы что! Говорит: «У него нет усов, а у меня нет ума, так что неизвестно, кто чего раньше дождется».

– Я знаю, что она всегда найдется, но кто разгадает, что она думает на самом деле. Все это женские хитрости!

– У Баси что на уме, то и на языке. Впрочем, я вам уже говорила, что она еще не чувствует надобности выходить замуж... Вот Христина, та больше.

– Тетушка! – взмолилась Христина. Разговор их прервал слуга, который оповестил присутствовавших, что ужин уже подан. Все отправились в столовую, только не было Варвары.

– Где же барышня? – спросила Маковецкая у слуги.

– Барышня в конюшне. Я им докладывал, что ужин подан, а они сказали «хорошо» и ушли в конюшню.

– Неужели случилось с нею какая-нибудь неприятность? Она была так весела! – сказала Маковецкая, обращаясь к Заглобе.

Вдруг маленький рыцарь, у которого совесть была не совсем чиста, беспокойно сказал:

– Я сбегая за ней!

Он побежал и нашел ее за дверью конюшни, сидящую на вязанке сена. Девушка так задумалась, что даже не заметила, кто вошел.

– Панна Варвара! – сказал маленький рыцарь, наклоняясь над нею.

Варвара вздрогнула, как бы проснувшись от сна, и подняла на него глаза, в которых Володыевский, к величайшему удивлению, заметил две крупные слезы.

– Боже мой! Что с вами? Вы плачете?

– И не думаю! – воскликнула она, вскочив. – И не думаю даже! Это от мороза.

И она засмеялась весело, хотя несколько принужденно. Потом, желая отвлечь от себя внимание, она указала на клетку, в которой стоял подаренный гетманом жеребец Володыевского, и поспешно проговорила:

– Вы говорили, что нельзя войти к этой лошади? А вот посмотрим! – И не успел Володыевский удержать ее, как она уже была в клетке. Дикий конь присел и начал топтать и прижимать уши.

– Он убить вас может! – крикнул Володыевский и вошел за нею.

Но Езеровская уже трепала рукою по шее коня, повторяя:

– Пусть убьет, пусть убьет, пусть убьет!

А конь обернулся к ней мордой и тихо заржал, довольный лаской девушки.

Глава X

Ни одна ночь не была такой беспокойной, как та, которую провел Володыевский после всего случившегося с Христиной. Он сознавал, что грешит против памяти дорогой покойницы, что злоупотребляет доверием и дружбой другой девушки, что у него есть другие обязанности, и вообще он чувствовал, что поступает бесчестно. Другой солдат на его месте не придавал бы такого значения одному поцелую и при одном воспоминании об этом с гордостью покручивал бы только усы, но Володыевский был очень мнителен, особенно после смерти Ануси Красненской, так как сердце и душа его были истерзаны. Что же ему оставалось делать и как поступить?

До отъезда оставалось только несколько дней, и все кончится само собою. Но хорошо ли уехать, не сказав ни слова Христине, и оставить ее, как простую горничную, у которой он украл поцелуй? Мужественное сердце маленького рыцаря трепетало при этой мысли. Но при одном воспоминании о Христине и ее поцелуе приятная дрожь пробирала его, даже и в минуты такой душевной тревоги. Он злился на самого себя, но не мог избавиться от чувства удовольствия. Впрочем, он всю вину взваливал на себя.

– Я сам довел ее до этого, – горько упрекал он себя. – А раз уж довел, значит, не следует уезжать, не переговорив с нею. Как же быть? Разве сделать Христине предложение и уехать уже женихом?

В эту минуту Володыевскому показалась белая фигура Ануси Борзобогатой с бледным, как бы восковым лицом, какое у нее было во время похорон.

– Так вот как ты жалеешь и тоскуешь обо мне, – как будто говорила она. – Сначала ты хотел сделаться монахом и всю жизнь оплакивать меня, а теперь ты думаешь жениться на другой прежде, чем душа моя успела долететь до неба. Ах! Подожди немного: дай успокоиться моей душе, дай уйти ей в высоту, и *тогда* я перестану смотреть на эту землю...

И рыцарю казалось, что он нарушает присягу, данную этому невинному существу, память о котором он, как святыню, обязан был почитать. Он стыдился, презирал себя и хотел умереть.

– Ануся! – повторял он на коленях – Я не перестану плакать о тебе до смерти, но что же мне теперь делать?

Белый призрак ничего не отвечал и рассеивался, как туман, а вместо Ануси ему чудились глаза Христины и покрытые пушком ее губы, а с ними являлся и тот соблазн, от которого бедный солдат отбивался, как от татарских стрел.

Так колебался маленький рыцарь, мучимый сомнением, огорчением и тоскою с обеих сторон. Ему хотелось пойти к Заглобе, высказать все ему и просить совета. Он знал, что этот умный человек умел найти выход в самых затруднительных случаях. Не он ли предугадал и сказал заранее, что может выйти из женской дружбы.

Именно эта мысль удерживала Володыевского. Он вспомнил свои дерзкие слова Заглобе: «Прошу вас не оскорблять Христину!» А кто же теперь оскорбил ее? Кто думает о том, не лучше ли оставить ее, как горничную, и уехать?

– Я не стал бы думать ни минуты, если бы не та бедняжка, – сказал про себя маленький рыцарь. – И с какой бы стати я стал мучить себя! Напротив, я был бы рад отведать это лакомое блюдо!

Он замолчал и потом прибавил:

– Да я бы сто раз готов испробовать его.

Видя, что он снова поддается искушению, Володыевский отбросил эти мысли и стал рассуждать иначе.

– Конечно! Если я поступил с нею, как человек, ищущий не дружбы, а удовлетворения страсти, то мне остается только продолжать и завтра же сказать Христине, что я желаю иметь ее своей женой.

Он опять замолчал и затем так продолжал:

– После этого предложения мое сегодняшнее свободное обращение не будет казаться таким неловким, а завтра я смогу опять себе позволить.

Но он вдруг прервал себя, закрыв рукою рот.

– Тьфу! – сказал он. – Видно, у меня за воротником сидит целый полк чертей.

Мысль о предложении не покидала Володыевского, он размышлял так. Если уж придется оскорбить память покойницы, то он может заслужить ее прощение молитвами и панихидами и этим же доказать, что всегда помнит ее и беспокоится о ней. А если люди будут удивляться и подсмеиваться над ним за то, что он две недели тому назад до того грустил по покойнице, что хотел постричься в монахи, а теперь женится на другой, то ведь стыдно будет только ему, а иначе придется краснеть за него Христине.

– В таком случае, я завтра же сделаю ей предложение, – сказал он наконец и, значительно успокоенный, помолился Богу за усопшую душу Ануси Красненской и уснул.

Проснувшись на следующий день, он повторил:

– Сегодня сделаю ей предложение.

Однако это было не так легко исполнить, потому что Володыевскому хотелось поговорить раньше с Христиной, а потом объявить всем, если окажется нужным. Но еще с утра приехал Нововейский, и некуда было укрыться от него.

Христина ходила весь день, как убитая, бледная, усталая; она каждую минуту опускала глаза, то краснея до ушей, то как бы плача и шевеля губами, то опять делалась сонной и слабой.

Ввиду всего этого маленькому рыцарю неловко было остаться с нею наедине; даже подойти к ней не было возможности. Положим, он мог ее вызвать на прогулку, так как погода была прекрасная, но раньше это можно было сделать просто, а теперь, теперь он не мог ему казаться, что все сейчас же догадаются и узнают о его предложении.

К счастью, его выручил Нововейский, который, поговорив о чем-то в сторонке с Маковецкой, вернулся с нею в комнату, где сидел маленький рыцарь с молодыми девушками и Заглобой.

– Что вы сидите дома, – сказала Маковецкая. – Покатались бы парами. Дорога славная, а снег так и блестит.

При этом Володыевский живо нагнулся к уху Христины и сказал:

– Поедем. Вы сядете со мной. Мне нужно с вами поговорить о многом.

– Хорошо, – отвечала Дрогаевская.

Потом они побежали с Нововейским и Варварой в конюшню, и через несколько минут двое саней были уже поданы к крыльцу. В одни сел Володыевский с Христиной, а в другие Нововейский и Езеровская, и отправились без кучера.

По отъезде молодых людей Маковецкая сказала Заглобе:

– Завтра крестная мать Нововейского, жена львовского подкомория, хочет приехать ко мне, чтобы переговорить насчет Баси, и поэтому Нововейский просил меня позволить ему хоть намеком сказать о себе Басе, чтобы узнать, как она к этому отнесется.

– И потому-то вы их отправили кататься?

– Да! Мой муж очень деликатен на этот счет и несколько раз говорил мне: «Я опекун только их имущества; что касается их самих, то пусть каждая выбирает себе мужа по своему усмотрению, я не стану препятствовать им, даже если окажется неравенство брака, только бы человек был порядочный». Впрочем, каждая из них в таком возрасте, что может сама решать свою судьбу.

– А что же вы намерены сказать жене львовского подкомория?

– Я предоставлю это моему мужу, который приедет в мае; но я думаю, что лучше всего сделать так, как Бася захочет.

– Нововойский так молод!

– Но ведь сам Володыевский говорил, что он хороший солдат и уже прославился своими военными подвигами. Состояние у него тоже приличное, а *все* родство его мне перечислила жена подкомория. Это, видите ли, так было: прадед его, рожденный от княжны Сенютович, был первый раз женат на...

– Что мне за дело до его родства, – прервал ее Заглоба, не скрывая досады, – он мне ни брат, ни сват, только я этого «мальчика» выбрал для Миши, потому что едва ли найдется на свете девушка лучше и честнее ее из числа двуногих существ, и если я ошибаюсь, то пусть лучше я с этой минуты стану ходить на четырех, как медведь.

– Володыевский еще ни о чем не думает, а если и думает, то скорее о Христине. Ну, да это в Божей воле.

– Я напысь от радости, если этот безусый юноша получит отказ! – прибавил Заглоба.

Между тем в санях решалась судьба обоих рыцарей. Володыевский долго не мог заговорить, но наконец собрался с духом и сказал Христине.

– Не думайте, ради Бога, что я легкомысленный и пустой человек. Ведь уж и лета мои не такие.

Христина ничего не отвечала.

– Простите мне, пожалуйста, мое вчерашнее поведение, я поступил так, не будучи в состоянии удержать моих чувств к вам... Но, милая, дорогая моя, примите во внимание, что я простой солдат, который провел всю свою жизнь на войне. Другой сначала объяснился бы в любви, а потом уже так поступал, но я поступил наоборот. Заметьте, что подчас даже хорошо обьеженный конь, закусив удила, разносит седока, что же сказать о любви? Только любовь моя к вам заставила меня забыть. О, дорогая Христина! Вы достойны руки каштеляна, сенатора, но если вы не побрезгаете солдатом, служившим не без славы отечеству, то я готов упасть перед вами на колени, целовать ваши ноги, чтоб вымолить ответ хотите ли вы быть моей женою?.. Можете ли вы подумать обо мне без отвращения?

– Ах, Миша!.. – воскликнула Христина.

И руки ее, выскользнув из муфточки, очутились в руках рыцаря.

– Вы согласны? – спросил маленький рыцарь.

– Да! – отвечала Христина. – Я знаю, что благороднее вас человека нет во всей Польше.

– Да благословит вас Бог, милая Христина! – сказал рыцарь, покрывая ее руку поцелуями. – Большого счастья я и не мог ожидать! Успокойте же меня, и скажите, что вы не сердитесь на меня за вчерашнее.

Христина прищурилась.

– Нет, не сержусь! – отвечала она.

– Жаль, что в санях мне неудобно поцеловать ваши ноги! – воскликнул Володыевский.

Несколько времени они ехали молча, только полозья саней поскрипывали по снегу, да стучали об сани комки снега, вырывавшиеся из-под копыт лошадей.

Володыевский первый заговорил.

– Мне даже странно, что вы любите меня.

– А меня гораздо больше удивляет то, что вы так скоро полюбили меня, – отвечала Христина.

При этом лицо маленького рыцаря приняло серьезное выражение.

– Послушайте, Хрестя! Быть может, и вы порицаете меня за то, что я полюбил вас, не успев оправиться от горя; но признаюсь вам, как на исповеди, что в свое время я был довольно легкомыслен, но теперь совсем не то. Я не забыл о той бедняжке и никогда не забуду;

я всегда люблю ее, и если бы вы знали, как я грущу и плачу о ней, то вы бы сами заплакали со мною...

При этом голос Володыевского дрогнул, до того он был взволнован. Они замолкли опять на время, но на это раз Христина отозвалась первой.

– Я постараюсь насколько возможно утешить вас.

– Потому-то я и полюбил вас так скоро, – возразил маленький рыцарь, – что вы в первый же день стали лечить мои душевные раны. Я был для вас посторонним человеком, между тем вы близко приняли к сердцу мое горе. И если бы вы знали, как я вам благодарен за это! Кто не знает всего этого, тот готов смеяться надо мною, что я в ноябре месяце хотел постричься в монахи, а в декабре собираюсь жениться. Заглоба первый готов посмеяться над этим, потому что он рад придраться ко всякому случаю, но пускай себе смеется на здоровье! Мне все равно, тем более что не над вами, а надо мною будут смеяться.

Христина задумалась, потом посмотрела на небо и наконец сказала;

– Разве необходимо говорить всем о нашей помолвке?

– А как же иначе?

– Ведь вы уезжаете через два дня?

– Я сам не рад этому, но должен.

– Я тоже ношу траур по отцу, и поэтому ни к чему удивлять людей. Пусть наша помолвка останется втайне для всех, пока вы не вернетесь из Руси. Хорошо?

– Вы не хотите даже, чтобы я сказал сестре?

– Я сама ей скажу, когда вы уедете.

– А Заглоба?

– Заглоба употребил бы свое остроумие надо мною... Нет, лучше всего не говорить ничего! Бася тоже станет издеваться... Она сделалась такая странная в последнее время. Ах, нет, лучше не будем говорить никому.

При этом Христина подняла вверх свои синие глаза.

– Пусть Бог будет нам свидетелем, а люди останутся в неведении.

– Я вижу, что вы одарены умом и красотой в равной степени. Хорошо! Пусть только Бог будет нашим свидетелем – аминь! Обопритесь же вашим плечиком на мое плечо, не стесняйтесь, раз мы считаемся женихом и невестой. Не бойтесь! Я не могу повторить вчерашнего, потому что должен править лошадьми.

Христина исполнила желание рыцаря, между тем как он продолжал:

– Называйте меня по имени, когда мы одни.

– Мне как-то совестно, – отвечала она улыбаясь. – И я никак не осмелюсь!

– А я уже осмелился.

– Потому что вы рыцарь, вы храбрый, вы солдат.

– Христя! Дорогая ты моя!

– Миш...

Но Христина не кончила и закрыла лицо рукавом.

Немного спустя, Володыевский поворотил лошадей домой; они уже мало говорили, и только, подъезжая к воротам, маленький рыцарь спросил еще раз:

– А после вчерашнего, грустно тебе было?

– Да, и стыдно, и грустно, но... хорошо! – прибавила она тихо. Они старались казаться равнодушными, чтобы никто не догадался о происшедшем.

Но это было совершенно напрасно, потому что никто не обращал на них внимания. Хотя Заглоба с Маковецкой и выбежали в сени им навстречу, однако глаза их были обращены на Варвару и на Нововейского.

Варвара вся раскраснелась от мороза, а быть может, и от волнения, неизвестно, между тем как Нововейский приехал словно в воду опущенный. Тут же в сенях он стал прощаться

с Маковецкой. Напрасно она и Володыевский, который был в превосходном настроении, упрашивали его остаться на ужин, но он отказался и уехал.

Тогда Маковецкая, не говоря ни слова, поцеловала Варвару в лоб, но последняя помчалась в свою комнату и вышла только к ужину.

На следующий день Заглоба, встретив ее одну, спросил:

– Что это с Нововейским сделалось, милый мальчик?

– А-а! – отвечала она, кивая головой и моргая глазами.

– Скажите, что вы ему ответили?

– Какой вопрос, такой и ответ, он человек быстрый и решительный, ну да и я тоже не уступлю ему и поэтому ответила: нет!

– И прекрасно сделали! Позвольте обнять вас за это! Что же он? Так и не настаивал?

– Он спрашивал, может ли он надеяться. Мне было очень жаль, но нет, нет, ничего не может выйти из этого.

При этом Варвара раздула ноздри и в задумчивости встряхнула потихоньку волосами.

– Скажите же мне ваши основания.

– Он тоже хотел знать их, но напрасно; я не сказала ему и никому не скажу.

– А может быть, вы скрываете в сердце своем какое-нибудь тайное чувство? – спросил Заглоба, пристально смотря ей в глаза.

– Какое там чувство; кукиш, а не чувство! – воскликнула Бася. И вскочила, как бы стараясь скрыть свое смущение.

– Не хочу я Нововейского, не хочу Нововейского, – повторяла она, – и никого не хочу! Что вы ко мне пристаёте? Отчего все пристаёт ко мне?.. – И она неожиданно расплакалась. Заглоба старался утешить ее по возможности, но она целый день скучала и злилась.

– Ты уезжаешь, Миша, – сказал за обедом Заглоба, – и к нам приедет Кетлинг, а он ведь красавец, каких мало! Не знаю, как наши барышни будут себя вести, но думаю, что они обе влюбятся в него по уши до твоего возвращения.

– Ну, ничего, – отвечал Володыевский. – Мы ему сейчас панну Варвару посватаем.

Варвара, как рысь, вперила в него свои глаза.

– А отчего же вы меньше беспокоитесь о Христине? Слова эти смутили маленького рыцаря, и он отвечал:

– Вы еще не знаете Кетлинга, а вот когда увидите, то не устоите против его обаяния.

– А отчего же Христина устоит?.. Ведь я не пою:

«То уж девице,
Как вольной птице,
Бог и подавно велел любить».

Тут пришла очередь смутиться Христине; между тем маленькая ехидна продолжала:

– В конце концов я попрошу Нововейского одолжить мне свою броню, когда вы уедете, но я, право, не знаю, чем Христина будет защищаться в случае опасности.

Но Володыевский уже опомнился и несколько строго сказал:

– Сумеет она защитить себя получше вас.

– Каким образом?

– Она не ветрена, постояннее и рассудительнее вас.

Заглоба и Маковецкая ожидали, что вспылчивая Бася сейчас станет ссориться, но, к величайшему их удивлению, она опустила вниз голову и через несколько минут тихо проговорила:

– Если вы сердитесь, то прошу вас и Христю извинить меня...

Глава XI

Володыевскому разрешено было ехать по какому угодно пути, и поэтому он поехал на Ченстохов, с тем чтобы посетить могилу Ануси. Наплакавшись вдоволь, он отправился дальше, но под впечатлением проснувшихся воспоминаний ему казался преждевременным тайный сговор с Христиной. Он чувствовал, что скорбь и траур, который он носил, имеют в себе что-то священное, неприкосновенное, к чему нельзя прикасаться до тех пор, пока оно само собой, подобно туману, не развеется по неизмеримому пространству. Правда, что некоторые женщины спустя месяц или два после овдовения выходили замуж, но они не поступали с отчаяния в монастырь и не были на пороге к счастью, которого ждали целые годы. Наконец, хорошо ли подражать тем, которые не почитали священную скорбь?

Так ехал Володыевский на Русь и мучился угрызениями совести, которые следовали за ним, как неизменные спутники. Он был, однако, справедлив и считал виновным только себя одного, а не Христину, и даже беспокоился, что девушка будет в глубине души порицать его за эту поспешность.

– Сама она не поступила бы так, – рассуждал Володыевский, – и, имея возвышенные чувства, она поневоле должна быть требовательна к другим.

И он боялся, что не угодил ей.

Но это был ложный страх Христина не обращала внимания на траур Володыевского, и разговор о нем не только не пробуждал в ней сострадания, но, напротив, дразнил ее самолюбие. Неужели она, живая, была хуже той, умершей? Или вообще она так мало стоила, что Ануся могла быть ее счастливой соперницей? Если б Заглоба был посвящен в эту тайну, то он наверное успокоил бы Володыевского тем, что женщины не слишком сострадательны друг к другу.

После отъезда Володыевского Христина недоумевала, неужели все уже было кончено. Собираясь в Варшаву в первый раз в жизни, она воображала себе все иначе. На конвокационный сейм съедутся отовсюду епископы и сановники со своими придворными, а также знаменитые рыцари. Сколько будет веселья, шума и блеска! И вдруг, среди этой суеты и сонма рыцарей, явится «он», какой-нибудь незнакомый рыцарь, каких девушки видят только во сне; внезапно вспыхнет он любовью к ней, станет играть на цитре серенады под ее окнами, будет устраивать прогулки на лошадях, и долго так будет он любить и вздыхать, долго будет носить на сабле ленту своей возлюбленной, пока наконец, после долгих страданий и многих препятствий, не упадет к ее ногам и не услышит, что он любим взаимно.

И вдруг ничего подобного не случилось. Розовые мечты поблекли и разрушились; перед ней действительно явился рыцарь, не какой-нибудь, но прославившийся своим мужеством и победами во всей Речи Посполитой, но как же он был далек от «того» рыцаря! Ничего не было, ни кавалькад, ни игры на цитре, ни турниров, ни состязаний, ни лент на оружии, ни сонма рыцарей, ни увеселений – ничего того, что, как майский сон, как чудная интересная сказка, могло бы заинтересовать ее, чем она могла бы насладиться, как запахом цветов, что могло бы ее увлечь, как песнь соловья; ничего такого, от чего бьется сердце, пылает лицо и трепет пробегает по телу.

Был только загородный дом, а в доме том Володыевский, а потом объяснение в любви – и все! Остальное пропало, исчезло, как исчезает луна, когда набегут на нее тучи. Если бы этот Володыевский явился в конце сказки, то было бы лучше. Часто Христина раздумывала о его славе, о честности и мужестве, которое страшило неприятеля и прославляло его имя, она чувствовала, что любит его, но все-таки считала себя лишенной чего-то и как бы обиженной отчасти быстротою всего случившегося.

Таким образом эта поспешность была как бы камнем преткновения, который упал обоим на сердце, и так как они удалялись друг от друга, то этот камень несколько беспокоил их.

Очень часто в человеческом чувстве зарождается маленькая колючка, которая беспокоит его; иногда она не чувствуется, а иногда до того раздражает, что наполняет все существо какою-то болью и горечью и отравляет любовь. Но им еще далеко было до этого. Особенно приятно и отрадно было Володыевскому вспоминать о Христине, и мысль о ней следовала, как тень, за маленьким рыцарем. Он думал, что по мере того, как он будет удаляться от своей невесты, последняя будет казаться ему милее, и он еще больше станет вздыхать и печалиться. Христине было гораздо тяжелее, потому что со времени отъезда маленького рыцаря никто не посещал загородного дома Кетлинга, а дни шли за днями монотонно и скучно.

Жена стольника поджидала своего мужа, считая дни и минуты до наступления сейма, и не переставала говорить о нем. Варвара страшно приуныла, а Заглоба подсмеивался, что она скучает по Нововойскому и жалеет, что отказала ему. Иногда Варвара не прочь была видеть хоть этого молодого воина, но он уехал вскоре вслед за Володыевским, решив, что ему нечего здесь делать. Заглоба тоже собирался вернуться к Скшетуским, но, будучи тяжелым на подъем, все откладывал свою поездку со дня на день, а Варваре говорил, что он влюблен в нее и хочет сделать ей предложение, поэтому никак не решается уехать отсюда.

Заглоба между тем старался занимать Христину, когда Маковецкая уезжала с Варварой к жене львовского подкомория, которая, несмотря на свою доброту, недолюбливала Христину, и потому последняя никогда не ездила к ней. Иногда Заглоба ездил в Варшаву и, проведя там приятно время в веселой компании, возвращался на следующий день домой немного навеселе; Христина же сидела одна все это время и раздумывала отчасти о Володыевском, отчасти о том, что могло бы случиться, если бы она не дала ему слово, но чаще всего о том, как выглядит тот неизвестный соперник Володыевского, тот сказочный принц.

Однажды она сидела у окна и, задумавшись, смотрела на дверь комнаты, на которую падал свет заходящего солнца, как вдруг послышался колокольчик с другой стороны дома. Христина подумала, что это вернулась Маковецкая с Басей, и продолжала мечтать, не отрывая глаз от двери, которая тем временем отворилась и в глубине ее, на темном фоне, глазам девушки представилась фигура какого-то незнакомого мужчины.

Явление было так чудесно, что в первую минуту Христине показалось, будто она видит перед собой картину или сон. Незнакомец был одет в черное заграничное платье с белым кружевным воротником, который доходил ему до плеч. Христина еще в детстве видела раз генерала конной артиллерии пана Арцишевского, который был точно так же одет и запомнился ей потому, что был еще и необыкновенно красив. Этот юноша был красивее Арцишевского и всех других мужчин на земле. Его чудные волосы были ровно обрезаны и ложились светлыми кольцами по обеим сторонам лица; темные брови отчетливо выделялись на белом, как мрамор, лбу, глаза его смотрели хоть грустно, но нежно; усы и борода были русые.

Вообще лицо его было необыкновенно привлекательно и соединяло в себе мужество и благородство: это было лицо рыцаря и в то же время ангела.

Дыхание замерло в груди Христины, она не верила своим собственным глазам и не могла понять, мечта ли это, сон или то был настоящий человек. А он все стоял неподвижно, удивленный или только желающий показать, что его поразила красота Христины; наконец, войдя в комнату и опустив руку со шляпой, он начал раскланиваться и мести перьями шляпы пол. Христина встала, ноги ее дрожали, она то бледнела, то краснела и, наконец, закрыла глаза.

В этот момент она услышала голос вошедшего, который был мягок и нежен, как бархат.

– Кетлинг оф Эльгин, друг и сослуживец пана Володыевского. Прислуга сказала мне, что я имею честь видеть и принимать под моим кровом сестру и родственниц моего палатина, но простите мне, милостивая государыня, мое смущение, прислуга не предупредила меня о том, что я увижу здесь, и глаза мои не в состоянии вынести вашей красоты и блеска...

Таким комплиментом приветствовал Кетлинг Христину, но та не отблагодарила его тем же, потому что вовсе не знала, что ей сказать. Она только поняла, что он, окончив свое приветствие, кланялся ей второй раз, и слышала, как он водил перьями шляпы по полу.

Христина чувствовала также, что ей нужно, непременно нужно сказать что-нибудь в ответ на его комплимент, что иначе он сочтет ее простушкой, между тем дыхание ее оставалось в груди, кровь билась в висках и в руках, а грудь высоко подымалась и опускалась, словно от усталости. Она не могла открыть глаза, а он стоял перед нею, склоня голову с выражением восторга и уважения на своем чудном лице. Христина, дрожащими руками взялась за платье, чтобы сделать реверанс, но к счастью за дверью комнаты раздались в эту минуту возгласы: «Кетлинг! Кетлинг!» И в комнату влетел запыхавшийся Заглоба с раскрытыми объятиями.

Воины обнялись, а девушка постаралась в это время прийти в себя и успела уже взглянуть два или три раза на молодого воина. Между тем он искренно обнимал Заглобу, но с тем оттенком благородства во всех движениях, которое он или унаследовал от предков, или приобрел при дворе короля и вельмож.

– Ну, как поживаешь? – кричал Заглоба. – Я очень рад что ты наконец вернулся в свой дом. Дай-ка взглянуть на тебя! А! Ты похудел! Не любовь ли какая-нибудь? Ей-Богу, ты похудел! Знаешь, Володыевский уехал в полк!.. Он теперь и думать забыл о монастыре! Здесь живет его сестра с двумя барышнями. Девушки – прелесть. Одна Езеровская, а другая Дрогаевская. Господи! Да ведь здесь панна Христина. Извините, пожалуйста, но пусть у того вылезут глаза, кто не признает, что вы обе хорошенькие, впрочем, этот кавалер наверняка успел уже оценить вашу красоту.

Кетлинг наклонил в третий раз голову и сказал с улыбкой:

– Я уехал и оставил мой дом арсеналом, а теперь застаю его Олимпом, потому что вижу на первом плане богиню.

– Ну, как ты поживаешь, Кетлинг? – спросил еще раз Заглоба, которому мало было прежнего приветствия, и он стал снова обнимать его.

– Это ничего, – говорил он. – Ты еще не видел «мальчика»! Одна гладка, но и другая – настоящий мед, да! Ну, как ты поживаешь? Дай тебе Боже здоровья. Я буду с тобой на ты! Хорошо? Мне, старику, как-то чувствуется ловчее. Рад ли, что у тебя гости, а?.. Пани Маковецкая захала сюда, потому что трудно было найти квартиру, но теперь это гораздо легче, так что она, наверное, уедет, потому что ей неловко жить в доме холостяка с барышнями, а то, пожалуй, станут еще говорить что-нибудь.

– Ах, Боже мой! Да я никогда не позволю этого! Разве я не друг Володыевскому; я брат и потому могу принимать у себя пани Маковецкую, как сестру. Прежде всего я обращаюсь к вам, сударыня, за ходатайством, итогов просит вас об этом на коленях, если будет нужно.

Говоря это, он стал на колени перед Христиной, схватил ее руки и прижал к своим губам, с мольбою смотря ей в глаза; молодая девушка покраснела, в особенности когда Заглоба воскликнул:

– Ах ты, шут эдакий!.. Не успел приехать, уже и на колени. Я, право, скажу пани Маковецкой, что застал вас в такой позе!.. Ловко, Кетлинг!.. Учитесь, Христина, придворным манерам!

– Я не знаю, какие манеры при дворе, – прошептала смущенная девушка.

– Могу ли я надеяться на ваше ходатайство? – спрашивал Кетлинг.

– Встаньте, сударь!..

– Могу ли я надеяться? Я, брат Михаила? Вы обидите его, если уедете отсюда!

– Мое желание ничего не значит, – отвечала смелее девушка, – но все-таки благодарю вас за внимание.

– Благодарю вас! – отвечал Кетлинг, целуя ее руку.

– Гм! На дворе мороз, а Купидон без платья, однако я полагаю, что он не замерз бы в этом доме! – воскликнул Заглоба. – От одних вздохов сделается оттепель. Только от одних вздохов!..

– Перестаньте – сказала Христина.

– Слава Богу, что вы всегда в веселом расположении духа! – отвечал Кетлинг. – Веселье – признак здоровья.

– И чистой совести, и чистой совести! – прибавил Заглоба. – Какой-то мудрец сказал, что тот чешется, у кого свербит, а у меня ничего не чешется, потому я и весел. Фу ты, Господи! Да что я вижу? Ведь я тебя видел в польском платье, в рысьей шапке и при сабле, а теперь ты опять превратился в какого-то англичанина и ходишь, как журавль на тоненьких ножках.

– Потому что я жил долго в Курляндии, где не носят польского платья, а теперь я провел два дня у английского резидента в Варшаве.

– Так ты возвращаешься из Курляндии?

– Да, мой второй отец, усыновивший меня, умер и оставил мне второе имение.

– Вечная ему память! Ну, а он был католик?

– Да.

– Вот это хорошо, по крайней мере утешение тебе. А ты не уедешь от нас в свою Курляндию?

– Здесь я бы хотел жить и умереть! – отвечал Кетлинг, смотря на Христину.

Она опустила вниз свои длинные ресницы.

Маковецкая приехала уже в сумерках; Кетлинг вышел за ворота, чтобы встретить ее и проводить ее в свой дом с таким почтением, как удельную княгиню.

На следующий день она хотела искать себе квартиру в городе, но все это не привело ни к чему. Молодой воин умолял ее остаться, ссылаясь на братское родство с Володыевским и до тех пор стоял перед нею на коленях, пока она не согласилась остаться в его доме. Они решили, что Заглоба тоже останется с ними, чтобы охранять их от пересудов и толков людей. Тот, конечно, охотно согласился, потому что страшно привязался к «мальчику» и даже начал строить разные планы, которые и заставили его остаться.

Обе девушки были очень довольны, а Варвара сразу стала на сторону Кетлинга.

– Мы все равно не можем уехать сегодня отсюда, – уговаривала она Маковецкую, – а потом будет все равно: одни сутки или двадцать.

Кетлинг нравился вообще всем женщинам, а потому понравился Басе точно так же, как и Христине; кроме того, первая никогда не видела заграничного кавалера, исключая офицеров заграничной пехоты, которые были не так изящны и гораздо проще, поэтому она ходила вокруг него, встряхивая волосами, раздувая ноздри и глядя на него с детским любопытством, но до того дерзким, что Маковецкая даже побранила ее. Несмотря на замечание, она все-таки не перестала всматриваться в него, словно желала изучить его и сделать ему оценку как солдату; наконец, она стала расспрашивать о нем Заглобу:

– Известный ли это воин? – спросила она тихо у старого шляхтича.

– Такой известный, что известнее и быть не может. Он закалил себя в боях, потому что сражался против англичан за веру четырнадцатилетним ребенком. Это высокородственный дворянин, это видно и из его манер.

– Вы видали его когда-нибудь в огне?

– Тысячу раз! В огне он стоит как вкопанный, даже не поморщится, и только изредка разве потреплет коня по шее и готов говорить о любви.

– А разве можно говорить в это время о любви?

– Отчего же нельзя; все возможно, лишь бы был отпор для пуля.

– Ну, а один он хорошо может сражаться?

– О, это настоящий шершень!..

– А может ли он сравниться с паном Володыевским.

– Нет, с Мишей он не может тягаться.

– Ага! – весело и гордо воскликнула девушка. – Я знала, что никто не может с ним равняться! Я сразу это угадала!

И она стала хлопать в ладоши.

– Так вот как!.. Значит, вы держите сторону Михаила? – спрашивал Заглоба.

Бася тряхнула головкой и умолкла, но через несколько времени тихо вздохнула.

– Э, да что там! Я все-таки рада, что он наш!

– Но заметьте себе и помните, милый «мальчик», – сказал Заглоба, – что Кетлинг не только опасен на войне, но он гораздо опаснее для женщин, которые страшно влюбляются в него. Он большой мастер в сердечных делах!

– Меня вовсе не интересуют его сердечные дела; вы лучше скажите это Христине, – сказала Варвара и, обращаясь к Дрогаевской, стала звать ее: – Христя, а Христя! Поди-ка сюда на минуточку.

– Что такое? – спросила Дрогаевская.

– Пан Заглоба говорит, что каждая барышня не успеет взглянуть на Кетлинга, как сразу влюбится. Я уже осмотрела его со всех сторон и как-то ничего, а ты? Неужели ты что-нибудь чувствуешь?

– Ах, Бася, Бася! – сказал с укоризной Христина.

– Понравился, что ли?

– Перестань! Будь степеннее и не говори глупостей: смотри, вон Кетлинг идет сюда.

И в самом деле, Христина не успела еще сесть, как Кетлинг уже приблизился и спросил:

– Можно ли мне присоединиться к вашему обществу?

– Милости просим, – отвечала Езеровская.

– Осмелюсь спросить, о чем у вас был разговор?

– О любви! – крикнула необдуманно Варвара.

Кетлинг сел подле Христины. Несколько времени они оба молчали; так как Христина, несмотря на свою смелость и умение владеть собой, странно как-то робела и терялась при нем, поэтому он первый перервал молчание.

– Так это правда, что вы действительно говорили о любви?

– Да! – отвечала Дрогаевская вполголоса.

– Ах, как бы я хотел услышать ваше мнение об этом предмете.

– Простите, но у меня нет ни смелости, ни остроумия, так что, я полагаю, ваше мнение было бы интересней.

– Это правда, – вмешался Заглоба. – А ну-ка, послушаем!

– Спрашивайте, сударыня! – отвечал Кетлинг.

И он задумался, подняв глаза вверх, а потом, не дожидаясь вопроса, начал так, словно отвечал самому себе.

– Любовь – это несчастье: она делает рабом свободного человека. Подобно тому, как раненная стрелой птица падает к ногам охотника, так точно человек, пораженный любовью, не имеет сил отойти от ног своей возлюбленной... Любовь – это увечье, потому что человек, точно слепой, ничего не видит, кроме своей любви. Любовь – это тоска, во время которой проливается много слез и слышны невеселые вздохи. Кто полюбит, тот забывает о нарядах, об охоте – словом, обо всем и готов сидеть по целым дням тоскуя, словно он потерял кого-нибудь близкого сердцу. Любовь – это болезнь, потому что тогда бледнеет лицо, вваливаются глаза, дрожат руки, худеют пальцы, а сам человек думает о смерти или в беспамятстве бродит с растрепанными волосами, беседует сам с собою и с неодушевленными предметами или пишет дорогое имя на песке, а когда ветер сотрет эту надпись, то он называет это «несчастьем»... и готов рыдать.

Кетлинг умолк и как бы погрузился в размышление. Христина всей душой слушала его. Оттененные усиками уста ее раек рылись, а глаза не отрывались от его белоснежного лица. Волосы Баси нависли на глаза, так что нельзя было узнать, о чем она думает, но она тоже тихо сидела и слушала Кетлинга.

Вдруг Заглоба громко зевнул, засопел и, вытянув ноги, сказал:

– Ну, с такую любовью далеко не уедешь, с нее и собакам сапог не шить.

– Однако, – продолжал рыцарь, – если тяжело любить, то еще тяжелее не любить, ибо ни роскошь, ни слава, ни богатство, ни драгоценности не могут удовлетворить человека без любви... Кто не скажет своей возлюбленной: «Ты для меня дороже царства, скипетра, короны, здоровья и жизни»?.. А если каждый готов пожертвовать жизнью ради любви, то она в таком случае стоит больше жизни.

Кетлинг умолк.

Девушки сидели, прижавшись друг к другу, очарованные его прочувствованною речью и выводами, чуждыми польским кавалерам; между тем Заглоба, слушая эту речь, заснул и, когда он кончил, проснулся и удивленно начал смотреть по очереди на всех троих; наконец он опомнился и громко спросил:

– Что вы говорите?

– Мы говорим, спокойной ночи вам! – отвечала Варвара.

– А! Я припомнил: мы говорили о любви. Чем же кончилось?

– Тем, что подкладка оказалась лучше, чем верх.

– Да, это верно!.. Меня даже в сон ударило, слушая ваше влюбленное вздыханье, терзанье. Ну, я подыскал еще одну рифму, а именно: «дреманье», взял да заснул, и полагаю, эта рифма гораздо лучше всех, потому что уже поздно. Спокойной ночи, господа; и вам советую оставить эту любовь в покое!.. Впрочем, кот всегда до тех пор мяучит, пока не съест мышки, а потом только облизывается. Я тоже в свое время был точь-в-точь, как Кетлинг, и так безумно любил, что, бывало, баран мог меня целый час бодать сзади, пока я это почувствую. Вот как я любил. Однако под старость я предпочитаю выспаться получше, в особенности когда гостеприимный хозяин не только проводит меня, но даже и выпьет со мною на сон грядущий.

– С удовольствием! – отвечал Кетлинг.

– Пойдемте! Пойдемте! Смотрите, как луна уже высоко. Завтра будет хорошая погода, небо расчистилось, и светло, как днем. Кетлинг готов тут вам всю ночь говорить о любви, но помните, что он устал с дороги.

– Нет, я не устал, потому что отдохнул два дня в городе. Но я боюсь, что барышни не привыкли ложиться так поздно.

– Слушая вас, мы не заметили бы, как ночь прошла, – сказала Христина.

– Где светит солнце, там нет ночи, – отвечал Кетлинг.

После этого они разошлись, так как действительно было уже поздно.

Девушки спали вместе и обыкновенно долго разговаривали перед сном, но в этот вечер Варвара ни за что не могла расшевелить Христину, которая на все ее расспросы отвечала полусловами. Несколько раз, когда Бася начала подсмеиваться над Кетлингом, острить и передразнивать, то Христина нежно обнимала ее и просила перестать глупить.

– Бася! Он здесь хозяин, – говорила она. – Мы живем в его доме. Я заметила, что он сразу полюбил тебя.

– Почему ты знаешь? – спрашивала Бася.

– Потому что тебя нельзя не любить. Все тебя любят... и я... очень даже!

Говоря это, она приблизила свое чудное лицо к лицу Баси и, обняв ее, поцеловала в глаза.

Наконец они улеглись, но Христина долго не могла уснуть. Ею овладело какое-то беспокойство. То сердце ее билось так сильно, что она принуждена была прикладывать обе руки к своей атласной груди, чтобы унять его биение. То казалось ей, особенно когда она старалась

закрывать глаза, что какая-то прекрасная, как сон, голова наклонялась к ней и тихий голос шептал:

– Ты для меня дороже царства, скипетра, короны, здоровья и жизни.

Глава XII

Несколько дней спустя Заглоба писал Скшетускому и так заканчивал свое письмо: «А если я не вернусь домой перед элекцией, то вы не удивляйтесь, так как это не будет доказательством моего к вам нерасположения, но того, что лукавый не спит, и я не хочу поймать вместо синицы журавля в небесах. Плохо будет, если я не скажу Михаилу, когда он вернется, что „та“ просватана, а „мальчик“ свободен. Все в Божьей власти, но тогда, я полагаю, не нужно будет принуждать Михаила, и без долгих разговоров вы сразу приедете на обручение. Но пока придется, по примеру Улисса, прибегнуть к некоторым уловкам, причем не обойдется и без прикрас, а это нелегко для меня, который больше всего в жизни любит правду и везде ее преследует. Однако я готов перенести это для Михаила и для „мальчика“, так как оба они – чистое золото. При сем крепко обнимаю вас и дочек и поручаю вас заботам Всевышнего».

Кончив письмо, Заглоба засыпал его песком, щелкнул по нему, прочел еще раз, держа далеко от глаз, и затем сложил письмо, снял с пальца перстень и, посплюнув его, приготовился уже запечатать, как вдруг вошел Кетлинг.

– Здравствуйте!.. С добрым утром!

– Здравствуйте, здравствуйте! – отвечал пан Заглоба. – Погода, слава Богу, превосходная, и я собираюсь снарядить посла к Скшетуским.

– Передайте им мой поклон.

– Я уже сделал это. Мне пришло в голову, что надо поклониться и от Кетлинга. Они оба обрадуются, когда получат приятные известия. Я не только написал им поклон от тебя, но целое послание, все про тебя да про девиц.

– Как так? – спросил Кетлинг.

Заглоба положил руки на колени и начал постукивать по ним пальцами, а потом, опустив голову, он посмотрел из под бровей на Кетлинга и сказал:

– Милый Кетлинг! Не надо ведь быть пророком, чтобы угадать, что всегда будет огонь там, где есть кремь и огниво. Ты у нас красавец, а о девушках и сам ты не можешь сказать ничего худого.

Кетлинг смутился.

– Не бельмо же у меня на глазу, и не дикий же я варвар, – отвечал он, – чтобы не восхищаться их красотой.

– Ну, вот видишь, – сказал на это Заглоба, глядя в лицо смущенного Кетлинга. – Если ты не варвар, то не следует тебе и метить в обеих, потому что так только турки делают.

– Как вы можете допустить нечто подобное?

– Я ничего не допускаю, а только говорю. А, мошенник! Ты им так напел о любви, что Христина третий день ходит бледная, как после приема лекарства. Да и неудивительно! Я сам в молодости стоял, бывало, с лютней под окном одной брюнеточки – на Дрогаевскую была похожа, – и, помню, пел:

«Ты сладко спишь после труда,
А здесь звучит моя дуда.
Гоп! Гоп!»

Хочешь, я тебе одолжу эту песню или сочиню совсем новую: у меня хватит на это таланта. Заметил ли ты, что Дрогаевская похожа несколько на прежнюю Биллевич, только что у той волосы как лен и нет этого пушка над губами, но есть люди, которые считают это особой прелестью и даже редкостью. Как она посматривает на тебя! Я это именно и написал Скшетуским. Не правда ли, что она похожа на Биллевич?

– В первую минуту я не заметил этого, но весьма возможно, что сходство есть, особенно в фигуре и росте.

– Ну, слушай теперь, что я тебе скажу: попросту, открою тебе семейный секрет, так как ты наш друг и должен знать его: берегитесь, чтобы не сделать зла Володыевскому, так как мы с Маковецкой предназначили ему одну из этих двух девушек.

Заглоба пристально посмотрел в глаза Кетлинга, который побледнел и спросил:

– Которую?

– Дро-га-евскую, – медленно произнес Заглоба.

Кетлинг молчал и молчал так долго, что Заглоба наконец спросил:

– Ну, что ты скажешь? А?

Рыцарь изменившимся голосом, но громко произнес:

– Можете быть уверены, что я не дам воли своему сердцу, если это принесет вред Володыевскому.

– Ты уверен в этом?

– Я много раз побеждал себя в жизни, – отвечал рыцарь. – И вот вам слово честного воина, пароль, что я не позволю себе этого.

Заглоба бросился к нему с раскрытыми объятиями.

– О, Кетлинг! Позволяй себе сколько можешь и сколько хочешь!.. Ведь я шучу и только хотел испытать тебя. Мы Басю наметили для Михаила, а не Дрогаевскую.

Лицо Кетлинга просияло истинною радостью, и он схватил Заглобу, долго сжимал в своих объятиях и, наконец, спросил:

– Разве они уже любят друг друга?

– Кто же может не любить моего мальчика, кто? – отвечал Заглоба.

– Значит, и обручение уже было?

– Нет, обручения еще не было, потому что Михаил не успел опомниться от горя, но все-таки будет, положись на меня! Хотя девушка все виляет хвостом, как ласточка, но она страшно расположена к нему, так как для нее самое главное – сабля...

– Да, я заметил это, – перебил его сияющий Кетлинг.

– Гм!.. Ты заметил? Миша все еще плачет по прежней невесте, но если ему кто понравится, так это наверное «мальчишка», потому что она больше похожа на Анусю, только моложе и потому не так стреляет глазами. Неправда ли, все хорошо складывается? Я ручаюсь, что обе свадьбы будут во время элекции!

Кетлинг, не говоря ни слова, обнял Заглобу и прижался своим белым лицом к красной щеке старого шляхтича, так что тот только засопел. Наконец Заглоба спросил:

– Значит, Дрогаевская порядком задела тебя за живое?

– Не знаю, – отвечал Кетлинг. – Знаю только одно, что едва глаза мои узрели это неземное создание, как я тотчас же подумал, что мое сердце могло бы полюбить только одну ее, и в ту же ночь я предался приятной истоме и вдохам, отгоняя сон от себя прочь. С этого момента она завладела мной, подобно царице, владеющей покорным и верным народом. Любовь ли это, или еще что, я не знаю!

– Но ты знаешь, что это дело сделать – не шапку купить, не три локтя сукна, не подпругу и не подхвостницу; это не колбаса с яичницей и не манерка с водкой. Если ты уверен в этом, то об остальном спроси у Христины, или, если хочешь, я спрошу ее?

– Не делайте этого, пожалуйста, – отвечал, улыбаясь, Кетлинг. – Если уж мне суждено утонуть в этом море любви, то пусть лучше буду думать еще дня два, что я плыву по нему.

– Я вижу, что шотландцы молодцы только на войне, но в амурных делах никуда не годятся. На женщину нужно нападать сразу, как на неприятеля. Пришел, увидел, победил – это было мое правило.

– Если суждено сбыться моим сокровенным желаниям, то со временем я попрошу вас походатайствовать за меня. Хоть я получил индигенат¹² и в жилах моих течет дворянская кровь, однако меня здесь почти не знают, и я не знаю, как пани Макавецкая.

– Маковецкая? – перебил Заглоба. – За нее бояться нечего. Это настоящая шарманка: как я ее настрою, так она и заиграет. Я пойду сейчас к ней. Надо ее предупредить, чтобы она не смотрела косо на твои ухаживания, потому что у вас в Шотландии своя политика, а у нас своя. Я не буду, разумеется, делать предложения от твоего имени, но только так намекну, что вот, мол, девушка приглянулась и не худо бы заварить кашу из этой крупы. Ей-Богу, пойду сейчас, а ты не бойся, потому что я могу говорить что угодно.

И, несмотря на удерживание Кетлинга, Заглоба встал и ушел.

По пути он встретил бегущую по обыкновению Басю и сказал ей:

– Знаешь, Христина совсем вскружила голову Кетлингу.

– Не одному ему! – отвечала Бася.

– А тебе не досадно?

– Чего досадно? Кетлинг – кукла! Вежливый кавалер, но все-таки кукла! А я вот ушибла себе колено об дышло, да и дело с концом!

При этом Варвара согнулась и стала растирать себе колено, смотря в то же время на Заглобу.

– Осторожнее, ради Бога, – сказал он, – куда же ты мчишься теперь?

– К Христине.

– А что она-пэдельвает?

– Она? С некоторого времени она все целует меня и ласкается, как кот.

– Ты не говори ей, что она влюбила в себя Кетлинга.

– Так вот я и выдержу?

Заглоба отлично знал, что Бася не в состоянии выдержать, потому-то он и приказал ей молчать.

Он отправился дальше, весьма довольный своей хитростью, а Бася влетела, как бомба, к Дрогаевской.

– Я ушибла колено, а Кетлинг по уши влюбился в тебя! – закричала она еще с порога. Я не заметила, что дышло торчит в сарае, и хватить!.. даже искры из глаз посыпались, но это ничего. Пан Заглоба просил не говорить тебе этого. Я ему не обещала молчать и сейчас же сказала тебе, а ты все хотела уверить меня, что он влюблен в меня! Не бойся, не обманешь!.. Все еще болит! Я ничего не говорила о Нововойском насчет тебя, а о Кетлинге, ого! Он теперь ходит по всему дому, сжимает свою голову и рассуждает сам с собою. Хорошо, Христина, очень мило! Шотландец! Шкот! кот! кот!

При этом Бася стала приближать палец к глазам подруги.

– Бася! – останавливала ее Дрогаевская.

– Шкот, шкот, кот, кот!

– Какая я несчастная, какая несчастная! – воскликнула Христина и заплакала. Варвара сейчас же начала успокаивать ее, но это не помогало: девушка разрыдалась так, как никогда не рыдала в жизни.

И в самом деле, никто не знал во всем доме, как она была несчастлива. Несколько дней она ходила как в горячке, лицо ее побледнело, глаза ввалились, грудь дышала коротко и отрывисто; вообще с ней происходило что-то необыкновенное, она будто страшно занемогла, и не постепенно, а сразу: словно вихрь или буря налетела на нее, разожгла ей кровь и ослепила, подобно молнии, ее воображение. Она не могла противостоять такой внезапной и неотразимой силе. Спокойствие покинуло ее, а воля была – как птица с подстреленными крыльями.

¹² подданство, гражданство.

Христина не знала, любит ли она или ненавидит Кетлинга; она боялась даже задать себе этот вопрос, но чувствовала, что сердце ее билось только для него, что голова, в силу инерции, думала только о нем и что везде и всюду был только он. И не было у нее сил избавиться от этого! Гораздо легче было не любить, чем забыть его, так как глаза ее были опьянены им, уши очарованы его речами и вся душа была полна им одним. Сон не избавлял ее от этого докучливого видения, потому что девушка не успевала закрыть глаза, как лицо его наклонялось к ней, и он шептал: «Ты для меня дороже царства, скипетра, славы и богатства». И так близко, близко склонялось над нею это лицо, что она чувствовала его дыхание, чувствовала, как кровь приливает к голове. Горячая кровь русинки сказывалась в ней, и в груди ее пылал какой-то неведомый ей дотоле жар, от которого ей становилось и страшно, и стыдно; какая-то болезненная, но в то же время приятная нега наполняла все существо ее. Ночь не приносила ей облегчения, но еще больше расстраивала и утомляла ее.

– Христина! Христина! Что с тобою? – говорила она сама себе.

Голова ее была все время точно в чаду.

Но ведь ничего еще не случилось, они не сказали друг другу и двух слов, и хотя мысли ее были поглощены Кетлингом, но какое-то инстинктивное чувство подсказывало ей: «Будь осторожна! Избегай его!» И она избегала.

К счастью, все это время девушка не думала о своей помолвке с Володыевским, а не думала она потому, что ничего еще не случилось, и потому, что, кроме Кетлинга, она не думала ни о себе, ни о других. Все это Христина старалась скрыть в глубине души своей и утешалась мыслью, что никто не догадывается и не думает ни о ней, ни о Кетлинге. Как вдруг слова Баси убедили ее, что, наоборот, все догадываются, думают о них и даже мысленно соединяют их, а потому стыд, горе и отчаяние так овладели ею, что она расплакалась, как дитя.

Однако слова Баси были только началом всевозможных намеков, подмигиваний, покачиваний головы и неоконченных слов, которые ей предстояло видеть, слышать и перенести. Все это за обедом и началось: Маковецкая стала вдруг посматривать то на Кетлинга, то на Христину, чего раньше не делала. Заглоба многозначительно побрякивал. Разговор по временам прерывался неизвестно почему, и водворялась тишина, а однажды, во время такого перерыва, растрепанная Бася громко крикнула:

– Я знаю что-то, да не скажу!

Христина вспыхнула, а вслед за тем побледнела, точно какое-нибудь несчастье промчалось над ее головою. Кетлинг тоже смутился. Оба прекрасно сознавали, что это относилось к ним, и хотя они избегали разговоров друг с другом, а Христина боялась даже взглянуть на него, однако было ясно, что между ними что-то совершается, что, собственно, обоих и смущало. Это обстоятельство сближало их и в то же время и разделяло так, что они теряли свободу и переставали быть друзьями. К счастью, никто не обратил внимания на слова Баси, потому что все были заняты тем, что Заглоба собирался ехать в город и привезти оттуда целую компанию гостей.

И в самом деле, вечером дом Кетлинга был освещен многочисленными огнями; приехали несколько офицеров и музыка, которую Кетлинг выписал для развлечения дам. По случаю поста и траура хозяина нельзя было танцевать, но все занимались разговором и слушали музыку. Дамы оделись по-праздничному; Маковецкая нарядилась в платье из восточной шелковой материи, Бася оделась очень пестро и привлекала внимание офицеров румянцем своих щек и светлым цветом волос, которые поминутно нависали ей на глаза; всех смешили ее остроумные, смелые речи и поражали манеры, в которых проглядывала казачья удаль, шедшая рука об руку со свободной непринужденностью. Христина, кончившая носить траур по отцу, была в белом платье с серебряными разводами. Одни из офицеров сравнивали ее с Юноной, другие с Дианой, но никто из них не посмел подойти к ней ближе, никто не покручивал усов, не шаркал ногами, не закидывал на плечи рукавов кунтуша, не смотрел на нее блестящими

глазами и не начинал разговора о своих чувствах Она только заметила, что все смотрят на нее с каким-то особенным восхищением и даже удивлением, как и на Кетлинга; некоторые даже, подойдя к нему, пожимают ему руку, словно бы поздравляют его и чего-то желают; в ответ на это он пожимает плечами и разводит руками, как бы отпираясь от чего-то. Будучи по природе догадливой и проницательной, Христина была почти уверена, что все говорят о ней, считают ее невестой Кетлинга. И так как она не могла предвидеть, что Заглоба уже успел *шепнуть* каждому из них, что она – будущая невеста, то девушке не могло прийти на ум, откуда у всех могло явиться такое предположение.

«Не на лбу ли это у меня написано?» – с беспокойством думала Христина, будучи сконфужена и опечалена всем происходившим.

До слуха ее стали долетать отрывистые слова, которые говорились громко, но вроде бы не были обращены к ней. «Счастливец Кетлинг!..», «В сорочке родился!..», «Неудивительно, потому что и он красавец!..» и тому подобные слова слышала она.

Некоторые вежливые кавалеры, желая занять ее разговором и сказать что-нибудь приятное, беседовали с Христиной о Кетлинге, хвалили его храбрость, доброту, вежливость и древний род. И девушка должна была слушать все это, невольно ища глазами того, о ком говорили, а когда глаза ее встречались с его взглядом, то очарование овладевало ею с новой силой, и она бессознательно упивалась этим-зрелищем. И как резко выделялся Кетлинг из толпы этих грубых солдат! «Царевич среди своих придворных», – думала Христина, глядя на это благородное аристократическое лицо, на эти гордые глаза, преисполненные истомы и грусти, на этот лоб, окаймленный густыми белокурыми волосами. Сердце ее сжималось и замирало, как будто он был ей дороже всех на свете. Кетлинг видел все это и, не желая усиливать ее смущения, не подходил к ней, когда никого не было подле. С царицей он не мог бы поступать вежливее и внимательнее. В разговоре с нею он наклонял голову и сгибал одну ногу, как бы желая этим показать, что он готов сейчас упасть перед нею на колени. Он всегда говорил серьезно и никогда не шутил с нею, как с Варварой. В обращении с нею, рядом с уважением, проявлялась тень какой-то тихой грусти. Благодаря этому никто не позволял себе высказываться слишком откровенно или смело шутить; все словно прониклось сознанием того, что эта девушка стоит выше всех по рождению и по достоинству, и всякий боялся быть с нею недостаточно вежливым.

Христина благодарила его в душе за это, и вечер, в общем, прошел для нее очень приятно, хотя несколько тревожно. Около полуночи музыка перестала играть, дамы распрощались с обществом, и только тогда рюмки заходили быстрее вокруг стола, пир начался, и Заглоба сделался распорядителем пира. Бася, довольная балом и веселая, как птичка, побежала наверх и перед молитвой стала шуметь и болтать, передразнивая разных гостей. Между прочим она сказала Христине, хлопая в ладоши.

– Как хорошо, что приехал твой Кетлинг, по крайней мере, у нас всегда будут гости военные! Пусть только кончится пост, так я до упаду натанцуюсь. Вот весело-то будет на твоём обручении с Кетлингом!.. А на вашей свадьбе! Ну, если я не переверну всего дома вверх дном, то пусть меня татары возьмут в плен! А что, если бы они взяли так всех нас? Вот была бы штука, а? Милый Кетлинг! Он будет устраивать разные разности, пока не сделает вот так!

При этом Бася вдруг бросилась на колени перед Христиной и, обняв ее за талию, стала говорить, подражая голосу Кетлинга.

– Сударыня! Я так люблю вас, что не могу жить без вас. Я вас люблю и пешком, и на лошади, *натоцак* и после обеда, вечно и по-шотландски... Хотите ли вы быть моей женой?

– Баська! Я рассержусь! – кричала Христина. Но вместо того, что рассердиться, она обняла ее и, приподняв, стала целовать в глаза.

Глава XIII

Заглоба прекрасно знал, что не Варвара, а Христина нравилась больше маленькому рыцарю, поэтому-то он и решился устранить ее, будучи уверен, что Володыевский, не имея выбора, обратится к Басе, которая до того вскружила голову старого шляхтича, что он не мог себе представить, чтобы кто-нибудь предпочел ей другую.

Он рассудил, что невозможно сделать лучшей услуги Володыевскому, как посватать ему «мальчика», и мысль эта приводила в восторг старого рыцаря. Заглоба злился на Володыевского, а также на Христину; ему хотелось, конечно, чтобы Михаил женился лучше на Христине, чем вовсе не женился, но он решился употребить все средства, чтобы женить своего друга на Варваре Езеровской.

Зная склонность маленького рыцаря к Дрогаевской, он намеревался выдать ее как можно скорее за Кетлинга. Но ответ, полученный от Скшетуского несколько дней спустя, поколебал решение Заглобы.

Скшетуский советовал ему не вмешиваться в подобные дела, чтобы избежать тех недоразумений, которые могут произойти между друзьями. Заглоба был с этим согласен и, чувствуя некоторые угрызения совести, успокаивал себя следующим образом:

– Если Христина дала слово Михаилу, и я стал бы вбивать Кетлинга, как клин, между ними, это другое дело. Какой-то мудрец сказал: «Не клади пальца между дверью». Но желать может всякий. Впрочем, что же я такого сделал, что?

Говоря это, Заглоба взялся за бока и, оттопырив нижнюю губу, стал вызывающе смотреть на стены своей комнаты, как бы ожидая возражений, но стены не отвечали, и он продолжал:

– Я сказал Кетлингу, что «мальчик» предназначен у нас для Миши. Разве это неправда? Неужели я не могу сказать этого? Да если я желаю ему чего-нибудь другого, то пусть меня блоха укусит.

Стены подтвердили своим молчанием справедливость Заглобы, между тем он продолжал:

– Я сказал Басе, что Христина победила Кетлинга, разве это не правда? Разве он сам не обнаружил этого, *так* сильно вздыхая возле печки, что даже пепел разлетался по всей комнате? А я что сам заметил, то и другим сказал. Скшетуский реалист, ну да и мою сметливость никто не бросит собакам! Я сам знаю, что можно сказать и чего нельзя. Гм, он пишет, чтобы ни во что не вмешиваться! Попробуем. Я не буду вмешиваться, но если я окажусь в комнате с Христиной и Кетлингом, то непременно уйду и оставлю их вдвоем. Пусть они сами говорят, как знают. Ба! Я думаю, они и выскажут, что следует. Не надо им помощи, когда их и без того тянет друг к другу, так что глаза белеют. Кстати, и весна приближается и не только солнце, но и страсти начинают пригревать сильнее. Хорошо, я ничего не буду делать, только посмотрим, что из всего этого выйдет.

Вывод не замедлил обнаружиться. На страстной неделе все обитатели дома Кетлинга переехали в Варшаву и остановились в гостинице на Длугой улице, чтобы, находясь вблизи церквей, помолиться вволю и насытиться зрелищем веселой праздничной толпы.

И здесь Кетлинг считал себя хозяином и, несмотря на свое иностранное происхождение, прекрасно знал столицу и везде имел массу знакомых, благодаря которым он мог все устроить. Он был донельзя предусмотрительным и, казалось, угадывал мысли своих спутниц, особенно Христины. Все искренно любили его; Маковецкая, будучи предупреждена Заглобой, смотрела снисходительно на него и на Христину, но ничего не говорила, потому что Кетлинг молчал тоже. Почтенная тетушка считала очень естественным, что рыцарь ухаживает за барышней, особенно такой рыцарь, которого высоко и низко поставленные люди ценили и уважая до такой степени он умел покорить всех своей наружностью, вежливостью, солидностью, щедростью, мягкостью, мужеством и военной доблестью.

– Я не буду мешать им, – думала Маковецкая – Пусть будет так, как Бог даст и как рассудит мой муж.

Благодаря этому, Кетлинг чаще и дольше оставался с Христиной здесь, чем в своем доме. Впрочем, все были всегда вместе.

Обыкновенно Заглоба шел под руку с Маковецкой, Кетлинг – с Христиной, а Варвара, будучи младше всех, бежала одна впереди, то сильно забегаая вперед, то останавливаясь перед окнами магазинов посмотреть на товары и на разные заморские чудеса, которых она еще не видывала. Христина постепенно привыкла к Кетлингу и, опираясь на его руку, слушала его речи или смотрела в его благородное лицо; она уже не чувствовала прежнего смущения, сердце ее не билось так беспокойно в груди; она не терялась, но испытывала приятное и опьяняющее ощущение. Они всегда были вместе, в церкви, стоя рядом на коленях, они шептали молитву или присоединялись к церковному пению.

Кетлинг хорошо знал состояние своего сердца, а Христина, по недостатку храбрости или желая обмануть самую себя, не сказала еще «люблю его», но тем не менее они горячо полюбили друг друга.

К этому чувству присоединились еще дружба и привязанность, так что хотя они и не сказали ничего друг другу про свою любовь, но время проходило как сон, и счастье окружало их.

Это спокойствие Христины вскоре должно было нарушиться массой упреков совести. Привыкнув к Кетлингу, подружившись с ним и полюбив его, молодая девушка перестала тревожиться; впечатления ее не были так порывисты, а волнение крови и расстроенное воображение успокоились. Они были так близко друг к другу и им было так хорошо, что Христина, отдавшись всей душой настоящему, не хотела думать о том, что все очарование может разрушиться от одного слова Кетлинга «люблю».

Скоро он вымолвил это слово. Однажды, когда Варвара с Маковецкой были у одной больной родственницы, Кетлинг предложил Христине и Заглобе осмотреть королевский замок, которого Христина никогда еще не видала, но слышала много хорошего о тех редкостях, которые хранились в нем. Они отправились туда втроем. Благодаря щедрости Кетлинга перед ними раскрылись все двери, а сторожа низко кланялись Христине, как королеве, являющейся в свою резиденцию. Кетлинг знал отлично устройство дворца и водил девушку по великолепным залам и комнатам. Они осматривали театр, королевские бани, картины, изображающие битвы и победы Сигизмунда и Владислава, одержанные над татарами; наконец они взошли на террасу, откуда открывался роскошный вид на Варшаву и окрестности. Христина не могла прийти в себя от удивления, а молодой человек все показывал и объяснял ей, прерывая время от времени свои речи и заглядывая ей в темно-голубые глаза, как бы говоря: «Что значат все эти чудеса и чего стоят все эти драгоценности в сравнении с тобой, мое сокровище!»

Девушка поняла эту безмолвную речь. Потом Кетлинг ввел ее в одну из королевских комнат и сказал, остановившись перед потайной дверью:

– Здесь можно пройти в кафедрю по длинному коридору, который оканчивается маленьким крылечком возле главного алтаря. На этом крылечке король с королевой обыкновенно стоят у обедни.

– Я хорошо знаю это, – ответил Заглоба, – потому что был здесь с Яном Казимиром, а Мария Людовика так сильно любила меня, что оба часто приглашали меня слушать с ними обедню, чтобы пользоваться моим обществом и брать пример с моего благочестия.

– Не хотите ли пройти туда? – спросил Кетлинг девушку, делая знак сторожу открыть дверь.

– Войдемте, – сказал она.

– Идите себе одни, – отозвался Заглоба. – У вас ноги помоложе, а я порядком пошатался. Ступайте, ступайте себе, я останусь здесь с привратником и отдохну, а вы можете помолиться, я не буду за это в претензии.

Они вошли.

Кетлинг взял молодую девушку за руку и повел ее по длинному коридору; он не прижимал к сердцу эту руку, но тихо и сосредоточенно шел вперед. Свет, проходящий через боковые окошечки, время от времени освещал их, затем они снова погружались во мрак. Сердце Христины сильно билось, так как они впервые остались вдвоем, но спокойствие и кротость Кетлинга вполне успокаивали девушку. Наконец они достигли крылечка, находившегося по правую сторону церкви и выходявшего к главному алтарю.

Прежде всего они опустились на колени и стали молиться. В церкви было тихо и пусто. Две свечи горели в алтаре, середина церкви находилась в величественном полумраке. Только через разноцветные стекла падал слабый свет на их чудные спокойные лица, погруженные в молитву и похожие на лица херувимов.

Кетлинг встал первым, но так как в церкви нельзя говорить громко, то он обратился шепотом к Христине:

– Взгляните на эту бархатную спинку, на ней остались следы от голов королевской четы. Королева садилась здесь, ближе к алтарю. Отдохните на ее месте.

– Правда ли, что она была несчастлива всю жизнь? – прошептала, садясь, Христина.

– Я еще в детстве слышал о ней, во всех рыцарских замках рассказывали ее историю. Очень возможно, что она была несчастлива, так как не могла выйти замуж за того, кого любила.

Христина оперлась головою на углубление, которое продавила голова Марии Людовики, и закрыла глаза; грудь ее как-то болезненно сжалась, а холод повеявший от пустой церкви, заморозил то спокойствие, которым так недавно было преисполнено все ее существо.

Кетлинг молча смотрел на нее; их окружала торжественная тишина. Потом, опустившись медленно на колени перед Христиной, он стал говорить взволнованным, но тихим голосом:

– Мне не грешно стать перед вами на колени здесь, в этом святилище, ибо где же будет благословлена чистая любовь, если не в церкви. Я вас люблю больше себя, больше всех благ земных, люблю вас всей душой, всем сердцем и здесь, у этого алтаря, говорю вам о своей любви!..

Христина побледнела, как полотно. Она отодвинулась на бархатное изголовье и не сделала ни одного движения, а молодой человек между тем продолжая:

– Здесь, у ног ваших, я жду вашего приговора: должен ли он наполнить меня небесной радостью или бесконечной скорбью, которой я не сумею пережить?.

Он подождал ответа, но когда его не последовала, то молодой человек склонил голову так низко, что она достигла почти ног Христины, волнение его усиливалось, а голос дрожал, как бы от недостатка воздуха.

– Поручаю вам свое счастье и жизнь. Сжальтесь, прошу вас, потому что мне страшно тяжело...

– Помолимся Богу! – сказала внезапно Христина и опустилась на колени.

Кетлинг не понял, но не смел противоречить этому и беспокойный, но полный надежды, он стал с ней рядом на колени и начал молиться.

В пустой церкви раздавался время от времени усиливающийся шепот их голосов, которые, благодаря эху, казались страстными и грустными.

– Господи, будь милостив ко мне, грешной! – шептала Христина.

– Господи, помилуй нас! – повторял Кетлинг.

После того девушка стала тихо молиться, но Кетлинг видел, что она вздрагивала от рыданий и долго не могла успокоиться; наконец, овладев собою, она продолжала стоять на коленях без движения, потом встала и проговорила:

– Пойдемте!..

И они опять очутились в длинном коридоре, но Кетлинг напрасно смотрел ей в глаза, стараясь прочесть в них ответ. Она шла быстро, как бы стараясь очутиться поскорее в той

комнате, где остался Заглоба. Не доходя несколько шагов до двери, молодой рыцарь схватил ее за платье.

– Панна Христина! Ради всего святого!

Христина обернулась и, быстрым движением схватив его руку, моментально прижалась к ней губами.

– Я люблю вас всей душой, но никогда не буду вашей женой! – отвечала она.

И прежде чем Кетлинг успел оправиться от смущения, она прибавила:

– Забудьте обо всем, что было.

Через минуту они очутились в комнате. Сторож спал, сидя на кресле, а Заглоба точно так же уснул на другом: Однако они оба проснулись при появлении молодых людей. Заглоба открыл свой единственный глаз и стал полусознательно мигать, пока не припомнил всего.

– А что вы? – сказав он, оправляя кушак. Мне снилось, что у нас новый электор, Пяст. Были ли вы на крылечке?

– Да.

– А дух Марии Людовики не почудился вам случайно?

– Напротив? – глухо ответила Христина.

Глава XIV

Выйдя из замка, Кетлинг, чтобы собраться с мыслями, попрощался с Христиной и Заглобой, которые возвратились в гостиницу, а сам качая обдумывать поступок Христины. Бася с Маковецкой уже вернулись от больной, и жена стольника встретила Заглобу следующими словами:

– Я получила письмо от мужа, который в настоящее время в станице с Володыевским. Они оба здоровы и собираются к нам. Вам тоже есть письма от них, а мне только постскриптум в письме мужа, он пишет, что процесс с Жубрами за одно имение Баси кончился благополучно. Они уже там готовятся к сеймикам. Он пишет; что имя Собеского играет там большую роль, так что и сейм будто согласен с ним во всем. Все собираются сюда на элекцию, но наши будут на стороне коронного маршала. Там уже тепло и идут дожди. В Верхушке у нас сгорели постройки... Работник заронил огонь, а ветер...

– Где же Мишино письмо ко мне? – спросил Заглоба, прерывая целый поток новостей, которые старалась вылить Маковецкая не переводя духу.

– Вот! – отвечала она, подавая ему письмо. – Погода стояла ветреная, а все были на ярмарке.

– Каким же образом дошли сюда эти письма? – опять спросил Заглоба.

– Они были присланы в до Кетлинга, а оттуда человек принес их... Так я говорила вам, что был ветер...

– Не хотите ли послушать?

– Хорошо, с удовольствием.

Заглоба распечатал и начал читать, сначала про себя вполголоса, а потом громко для всех.

«Посылаю вам первое письмо, а другого, пожалуй, не будет, так как почта здесь плохая, и я намерен скоро явиться сам. Здесь, в поле, мне хорошо, но сердце рвется к вам, а воспоминаниям нет конца, благодаря чему мне милее уединение, чем компания.

Обещанного дела у нас уже нет, потому что орда сидит тихо, только небольшие шайки бушуют на лугах, но мы два раза так ловко подошли к ним, что не оставили ни одного свидетеля поражения...»

– Вот нагрели-то их! – весело воскликнула Варвара. Лучше всего быть солдатом.

«Татары из школы Дорошенки, – продолжал читать Заглоба, – охотно бы подрались с нами, но они ничего не могут без ордынцев. Пленные сознались, что крупные шайки не могут ниоткуда двинуться, и сам я думаю, что это правда, так как иначе они давно бы явились к нам, потому что луга зазеленелись и им можно свободно прокормить лошадей. Кое-где лежит еще снег, но вся степь покрылась уже травой, и дует теплый ветер, от которого лошади делаются ленивее, а это первый признак весны. Я уже послал прошение об отпуске и со дня на день жду ответа, чтобы уехать. Нововейский останется здесь вместо меня, потому что работы так мало, что мы с Маковецким по целым дням травим лисиц ради забавы, так как мех их никуда не годен весной. Здесь много дроф, а мой слуга застрелил из винтовки пеликана. Сердечно приветствую вас, целую руки сестре, а также панне Христине и прошу ее не лишать меня своего расположения, аглавное, прошу Бога о том, чтобы она была ко мне по-прежнему благосклонна. Передайте мой поклон панне Варваре. Нововейский несколько раз вымещал свою злобу на спинах негодяев; но он все еще злится, видно, ему не сделалось от этого легче. Да хранит вас Бог и не лишает своей милости.

Р. S. Я купил у проезжих армян очень хороший мех горноста и думаю привезти его в подарок для панны Христины, а для нашего „мальчика“ найдутся турецкие сласти.»

– Пусть себе пан Михаил их сам кушает, ведь я не ребенок! – обиделась Варвара, и щеки ее зарделись.

– Значит, вы и видеть его не хотите? Вы сердитесь на него? – спросил Заглоба.

Но она проворчала себе что-то под нос и, сердясь, раздумывала о том, как Володыевский легко к ней относится; впрочем, она отчасти думала о дрофах и пеликане, который ее особенно интересовал.

Во время чтения письма Христина сидела, повернувшись спиной к свету и закрыв глаза, и потому никто из присутствующих не видел ее лица, иначе все узнали бы, что с ней происходит что-то необыкновенное. Сцена в церкви и письмо Володыевского как громом поразили ее. Чудесное сновидение кончилось, и девушка очутилась лицом к лицу с грустной действительностью Мысли ее путались, а в сердце боролись какие-то странные чувства Володыевский со своим письмом, со своим приездом и горностаями показался ей таким ничтожным, что внушал даже отвращение. Кетлинг же казался ей дороже прежнего. Ей дорога была мысль о нем, дороги его слова, его любимое лицо и его грусть. И вдруг все это надо было бросить, уйти от того, к кому стремилась душа и сердце, к кому протягивались руки, бросить любимого человека в тоске и отчаянии и отдаться душой и телом другому, который потому только был ей ненавистен, что был именно другим.

– Нет, видно, не совладать мне с собою! – думала Христина.

И она чувствовала то, что могла чувствовать пленница, которой связывают руки, а ведь она сама связала себя словом, данным Володыевскому; ведь она могла сказать ему раньше, что будет его сестрою и больше ничем.

Она вспомнила тот принятый и возвращенный поцелуй, и стыд и презрение к самой себе овладели ею. Любила ли она в то время Володыевского? – Нет. В сердце ее не было любви; было только немного сострадания; а любопытство и кокетство прикрывалось личиной сестринского сочувствия. Только теперь она почувствовала, что поцелуй по любви и поцелуй по чувству сострадания так же походят друг на друга, как ангел на демона. Она презирала и вместе с тем сердилась на Володыевского. Ведь он тоже был виноват, почему же она одна сокрушапась и беспokoилась об этом? Отчего же и он не попробует этого горького зелья? Не имеет ли она оснований сказать ему, когда он вернется: «Я ошиблась, и сочувствие к вам приняла за любовь, – вы тоже ошиблись и забудьте меня так, как я вас забыла!..»

Но она боялась мести грозного рыцаря, боялась не за себя, а за голову любимого человека, на которую должна была неминуемо обрушиться эта месть. Она представляла, как Кетлинг начинает биться с этим зловещим фехтовальщиком и как падает, подобно цветку, срезанному косой; ей представилась кровь, бледное лицо, закрытые навеки глаза, и страдания ее сделались невыносимы. Она быстро встала и ушла в свою комнату, чтобы спрятаться от людей и не слышать их разговора о скором возвращении Володыевского. Она все больше и больше ожесточалась против маленького рыцаря.

Но угрызения совести и сожаление последовали за нею и не покинули ее даже во время молитвы; они легли с нею в постель и продолжали свои речи, когда она лежала, изнемогая от усталости.

«Где он? – спрашивало ее сожаление. – Смотри, он не вернулся домой, ходит ночью и в отчаянии ломает руки. Ты, готовая отдать за него душу, отравила ему жизнь, вонзила ему в сердце нож...»

«Если бы не твое кокетство и не желание нравиться всякому встречному, – говорило угрызение совести, – все могло бы быть иначе, а теперь тебе остается только отчаяние. Ты виновата, страшно виновата! Нет исхода и нет тебе спасения; остались лишь стыд слезы и горе...»

«А как он стоял перед тобою на коленях! – опять заговорило сожаление. – Странно, что у тебя не разорвалось сердце, когда он смотрел тебе в глаза и просил пощады. Чужого было бы жаль, а его, любимого, дорогого. Боже! Сжался над ним и пошли ему утешение!»

«Если бы не твоя ветреность, – повторяло угрызение совести, – он мог бы уйти довольный, ты могла бы броситься ему в объятия, как избранница его сердца, как жена...»

«И быть всегда с ним!» – прибавило сожаление.
«Ты виновата!» – говорило угрызение совести.
«Плачь, Христина!» – подсказывало сожаление.
«Напрасно, – молвило угрызение, – этим не смоешь вины!»
«Утешь его, чем можешь», – настаивало сожаление.
«Володыевский убьет его!» – отвечало угрызение.

Холодный пот обдал Христину, и она села на кровати. Вся комната была залита лунным светом и казалась какой-то таинственной и странной.

«Что это такое? – думала Христина. – Вон там, я вижу, спит Баса, потому что луна светит ей прямо в лицо, да когда же она успела прийти, раздеться и лечь? Ведь я ни минуточки не спала. Ах!.. Видно, моя бедная головушка не в состоянии уже соображать...»

Пораздумав таким образом, она снова легла, но сожаление и угрызение совести, как два призрака, уселись опять краям кровати, то прячась, то выплывая из лунного света.

– Нет, лучше вовсе я не буду сегодня спать! – сказала себе Христина.

И она стала думать о Кетлинге, страдая все больше и больше.

Внезапно в тишине ночи раздался жалобный голос Баси.

– Христина!

– А?.. Ты не спишь?

– Мне снилось, что какой-то турок застрелил пана Володыевского стрелой. Ах, Господи, Боже мой Меня даже лихорадка трясет. Помолимся Богу, чтобы он уберег его от несчастья.

В голове Христины мелькнула, как молния, мысль: «Ах, если бы его кто-нибудь подстрелил!» В эту же минуту ею овладела такая злоба, что потребовались нечеловеческие усилия, чтобы молиться за Володыевского, однако она ответила:

– Хорошо, Бася, помолимся.

Затем обе они поднялись с кроватей и стали голыми коленями на залитый ярким лунным светом пол и начали читать молитву. Голоса их то усиливались, то ослабевали, взаимно вторя друг другу; казалось, что комната превратилась в монастырскую келью, в которой две беленькие монашенки читают вслух ночные молитвы.

Глава XV

На следующий день Христина несколько успокоилась, так как из всех дорог она выбрала себе одну, наиболее трудную, но надежную; по крайней мере, вступая на нее, она знала, куда по ней может пойти. Она решила прежде всего увидеть Кетлинга и в последний раз переговорить с ним, чтобы избавить его от опасности. Но это не так легко было сделать, потому что Кетлинг несколько дней не показывался вовсе, а также не возвращался на ночь домой. Христина вставала на заре и ходила в ближайшую церковь доминиканского монастыря, надеясь встретить его и поговорить без свидетелей.

И в самом деле, спустя несколько дней она встретила его в воротах. Заметив девушку, Кетлинг снял шляпу, поклонился и остановился; на его лице были следы усталости и бессонных ночей, глаза ввалились, на висках появились желтые пятна; прекрасное лицо пожелтело, и весь он казался завядшим цветком. Сердце Христины готово было разорваться на части при виде этого, и, несмотря на свою врожденную робость и нерешительность, она первая протянула ему руку и сказала:

– Да пошлет вам Бог утешение и забвение!

Кетлинг взял ее руку и приложил сначала к горячему лбу, потом сильно и долго прижимая ее к своим губам и наконец заговорил решительным и полным смертельной тоски голосом:

– Нет, я не утешусь и не смогу забыть вас!..

Была минута, когда Христине нужно было вооружиться всей силой воли, чтобы не обнять его и не сказать: «Люблю тебя больше всего! Бери меня!» Девушка чувствовала, что она готова заплакать, и потому крепилась и молча стояла против него. Однако она превозмогла себя и заговорила спокойно, но очень быстро, не переводя дыхания.

– Может быть, вы успокоитесь, когда я скажу вам, что иду в монастырь и не буду принадлежать никому. Не порицайте меня, потому что я и без того несчастна! Дайте мне слово, что вы никому не скажете про свои чувства... что вы не заикнетесь о том, что случилось... и я не откроюсь ни другу, ни родственнику. Это моя последняя к вам просьба. Будет время, когда вы узнаете, почему я это делаю. Но и тогда будьте великодушны! Больше ничего не могу вам сказать. Обещайте же мне то, о чем я вас прошу, и утешьте меня, иначе я умру!

– Клянусь! – отвечал Кетлинг.

– От души благодарю вас! Но старайтесь казаться спокойным при посторонних, чтобы кто-нибудь не догадался о ваших чувствах. Мне пора идти. Вы так добры, что я не подберу слов для благодарности. С нынешнего дня мы не будем больше встречаться наедине. Скажите же мне еще раз, что вы не сердитесь на меня. Потому что страдать не значит прощать. Помните, что вы уступаете меня Богу и никому больше.

Кетлинг хотел сказать что-то, но страдания сдавили ему грудь, из которой вырвался какой-то неопределенный, подобный стону, звук, затем он дотронулся руками до висков Христины и долго так держал их, как бы благословляя и прощая ее. Затем они расстались; она прошла в церковь, а молодой человек пошел в гостиницу, избегая встречи с кем-нибудь из знакомых.

Христина только к полудню вернулась домой, где застала почетного гостя: это был подканцлер, прелат Ольшовский. Он неожиданно явился к Заглобе, желая познакомиться с этим знаменитым рыцарем, «ум и военные подвиги которого, как говорил он, могут служить образцом, достойным подражания, для всех рыцарей нашей великой Речи Посполитой». Заглобу несколько поразило, но еще больше обрадовало посещение такого почтенного священника: он потел, краснел и нежился, желая в то же время показать Маковецкой и девушкам, что он привык к визитам государственных сановников и чувствует себя вполне хорошо в их присут-

ствии. Представленная прелату, Христина смиренно поцеловала его руку и села рядом с Басей, довольная, что никто не заметил на ее лице следов недавних потрясений.

Между тем подканцлер так щедро осыпал похвалами Заглобу, что казалось, будто он доставал эти похвалы из своих фиолетовых, обшитых кружевами рукавов, где их был большой запас.

– Не подумайте, что я явился сюда из одного любопытства видеть и познакомиться с первым рыцарем Речи Посполитой, и хотя герои всегда достойны удивления, однако мы привыкли посещать тех, у кого мужество и ум идут рука об руку, имея в виду и личную от этого пользу.

– Ловкость, особенно в военном деле, – скромно отвечал Заглоба – я приобрел с годами, и очень может быть, что только поэтому иногда со мной советовался еще покойный Конецпольский, отец хорунжего, а потом Николай Потоцкий, князь Иеремия Вишневецкий, Сапега и Чарнецкий, но что касается прозвища Улисса, то я всегда отказывался от него из скромности.

– Однако же оно так связано с вашим именем, что стоит только кому-нибудь сказать «наш Улисс», не называя по фамилии, и все тотчас же догадаются, о ком идет речь. Так что в нынешнее, трудное и богатое событиями время, когда многие не знают, как быть и чью держать сторону, я сказал: «Пойду послушаю мнения других, избавлюсь от сомнений и позаимствуюсь умным советом». Вы, я полагаю, догадываетесь, что дело идет о приближающихся выборах и что в настоящее время дорога каждая оценка кандидатов, не говоря уже о той, которую вы можете дать. Я слышал, что в кругу рыцарей упорно держится слух, что вы недружелюбно смотрите на иностранцев, посягающих на наш трон. Вы будто бы говорили, что Вазы не могли считаться иностранцами, так как в их жилах текла кровь Ягеллонов, но что эти кандидаты совсем нам чужды, они не знают наших старопольских обычаев, не сумеют также сочувствовать нашей свободе и что отсюда очень легко может возникнуть неограниченная форма правления. Признаюсь вам, что мнение это достойно уважения, но простите меня за вопрос: действительно ли вы высказали это мнение или же общество приписывает вам, по обыкновению, все глубокомысленные замечания.

– Вот эти дамы могут быть свидетельницами, – отвечал Заглоба, – и хотя им несвойственно рассуждать о таких предметах, однако пусть они скажут, если их Господь наградил наравне с нами даром слова.

Подканцлер невольно взглянул на Маковецкую и на прижавшихся друг к другу девушек.

Воцарилось глубокое молчание; спустя минуту вдруг раздался серебристый голосок Варвары Езеровской:

– Я не слышала!

И девушка страшно сконфузилась и покраснела до ушей, особенно потому, что Заглоба сейчас же сказал:

– Простите, ваше преподобие! Она молода и потому ветрена. Что же касается кандидатов, то я не раз говорил, что свобода поляков может пострадать от них.

– Я сам побаиваюсь этого, – отвечал Ольшовский, – но если бы мы захотели выбрать кого-нибудь из династии Пястов, который был бы одной с нами крови, то посоветуйте нам, на кого обратить внимание? Одна ваша мысль о Пясте так велика, что она, подобно пламени, распространяется по стране и везде на сеймиках только и слышно: «Пяст! Пяст!»

– Правда, правда! – перебил Заглоба.

– Однако, – продолжал подканцлер, – гораздо легче говорить о Пясте, чем найти такого, который бы отвечал всем требованиям, поэтому не удивляйтесь, если я спрошу вас кого вы имеете в виду?

– Кого я имел в виду? – повторил озабоченно Заглоба.

И он оттопырил нижнюю губу и сморщил брови. Ему трудно было ответить на это фазу, так как до этого времени он не только не имел никого в виду. Он вообще не имел того мнения, которое навязал ему ловкий подканцлер. Впрочем, он знал и понимал, что Ольшовский желает

склонить его на чью-то сторону, и Заглоба нарочно заставил его высказаться, так как речи эти льстили его самолюбию.

– Я только говорил в принципе, что нам нужен Пяст, – отвечал он наконец, – но я, говоря правду, не называл никого.

– Я слышал о честолюбивых замыслах Богуслава Радзивилла! – сказал вскользь Ольшовский.

– Пока я могу дышать своими легкими, пока в жилах моих будет течь еще кровь, – вскричал глубоко убежденный Заглоба. – Не бывать этому! Я не хотел бы жить среди такого опозоренного народа, который бы избрал своим королем Иуду-предателя!

– Это голос ума и гражданской добродетели! – пробурчал подканцлер.

«А – подумал Заглоба, – ты хочешь, чтобы я проговорился, но подожди, я заставляю и тебя высказаться».

Ольшовский продолжал:

– Когда же ты, наше отечество, пустишься опять в плавание, подобно восстановленному кораблю? Какие бурят скалы встретятся тебе на пути? Горе тебе, если чужеземец делается твоим кормчим, но что же делать, если среди твоих сынов не найдется достойного.

При этом он развел своими белыми руками, украшенными драгоценными перстнями, и, как бы сдаваясь, склонил голову и сказал:

– Остается только Конде, князь Лотарингский или Нейбургский?.. Ничего не поделаешь.

– Это невозможно! Пяст! – отвечал Заглоба.

– Кто? – спросил Ольшовский. Опять молчание.

Подканцлер заговорил снова.

– Найдется ли кто-нибудь, кого бы все согласились избрать? Где же тот, кто мог бы сразу так понравиться всему воинству, против которого никто не смел бы роптать?.. Был один величайший, достойнейший и добрейший ваш приятель, окруженный почестями и славой. – Да, был такой.

– Князь Иеремия Вишневецкий – перебил его Заглоба.

– Да, но он уже в могиле.

– Сын его еще жив! – отвечал Заглоба.

Подканцлер закрыл глаза и долго сидел молча, потом вдруг поднял голову, посмотрел на Заглобу и медленно произнес.

– Слава Богу, что он внушил мне мысль познакомиться с вами. Да, сын великого человека жив, молод и полон сил, а Речь Посполитая у него в долгу. Но из всего громадного состояния у него ничего не осталось, кроме славы, так что в нынешнее испорченное время кто осмелится произнести его имя, кто будет поддерживать его кандидатуру, когда каждый обращает внимание только на золото? Вы – это другое дело! Но много ли найдется таких? Неудивительно, что тот, который провел геройски свой век на поле битвы, не устрашится отдать дань справедливости на поле выбора. Но последуют ли остальные его примеру?.

При этих словах подканцлер задумался и, подняв к небу глаза, продолжал;

– Бог сильнее всех; Он один знает, что ожидает нас. Как только подумаю я о том, что все рыцарство верит и надеется на вас, то замечаю, что какая-то надежда внедряется и в моем сердце. Скажите мне по правде, существовало ли когда-нибудь невозможное для вас?

– Никогда! – отвечал убедительно Заглобз.

– Однако мы не можем выставить его сразу кандидатом. Пусть лучше все привыкнут к его имени, но так, чтобы оно не казалось слишком грозным для противников, пусть они лучше смеются и пренебрегают им, но не ставят более сильных претендентов. Может быть, что-нибудь и выйдет из этого с Божьей помощью, когда старания обеих партий взаимно уничтожатся. Прокладывайте понемногу дорогу, так как ваш кандидат достоин вашего ума и опытности. Да благословит вас Бог в ваших предприятиях!..

– Могу ли я предполагать, – спросил Заглоба, – что вы тоже думали о князе Михаиле? Прелат-подканцлер вынул из-за рукава маленькую книжечку, на которой чернело крупное заглавие: «Censura candidatorum», и сказал:

– Читайте, и пусть эта рукопись ответит за меня!

Сказав это, подканцлер собрался уходить, но Заглоба задержал его и сказал:

– Позвольте мне еще ответить вам. Прежде всего благодарю Бога, что малая печать находится в таких руках, которые умеют смягчать сердца людей.

– Как так? – спросил удивленный подканцлер.

– Во-вторых, говорю вам, что кандидатура князя Михаила весьма близка моему сердцу, так как я знал и любил его отца, а также вместе со своими друзьями сражался под его командой, поэтому-то они все будут рады, когда окажется возможность высказать ту любовь для сына, которую они питали к его отцу. Вот я и хватаюсь обеими руками за этого кандидата и сегодня еще поговорю с подкоморием Крыцким, который не только знаком мне, но приходится даже сродни; его очень любит шляхта, да и трудно не любить его. Вот оба мы и будем стараться сколько возможно и, с помощью Божьей, что-нибудь да сделаем.

– Да руководят вами ангелы небесные, – отвечал прелат, – и если так, то мне больше ничего не надо.

– Ваша честь, позвольте мне сказать еще одно. Я боюсь, чтобы вы не подумали: «Навязал я ему свои собственные взгляды, уверил его, что он сам додумался до кандидатуры князя Михаила, короче, сделал из дурака что вздумалось». Ваша честь! Я буду держать сторону князя Михаила только потому, что сочувствую ему, вот что! И потому, что вы тоже симпатизируете ему!.. Я буду стоять за княгиню, за моих друзей, ради уважения к тому уму, – при этом Заглоба поклонился, – который произвел на свет эту Минерву, но вовсе не ради того, что вы уговорили меня, как ребенка; наконец, скажу вам, что я поступал по собственному убеждению, а не потому что я дурак, который на всякое предложение умного человека говорит хорошо!

При этом Заглоба поклонился еще раз и умолк. Ксендз-подканцлер сначала заметно сконфузился, но, видя веселое лицо старого шляхтича и чувствуя, что дело принимает хороший оборот, он искренно расхохотался и, схватившись за голову, начал повторять:

– Улисс, ей-Богу, настоящий Улисс! Милый брат, говорят, что когда хотят сделать добро, то надо всячески хитрить с людьми, но с вами, как я вижу, надо действовать открыто. Вы мне пришли по душе.

– Точно так же, как мне князь Михаил.

– Да пошлет вам Господь здоровья! Я доволен, несмотря на то, что вы меня победили. Много, должно быть, вам пришлось съесть в молодости скворцов. А вот этот перстень пусть останется у вас на память о нашем союзе.

– Пусть лучше этот перстень останется на своем месте, – возразил Заглоба.

– Примите его ради меня.

– Нет, ни за что не возьму! Разве потом, когда-нибудь, после элекции.

Подканцлер понял и больше не настаивал; однако он ушел с сияющим лицом.

Заглоба проводил его за ворота и, возвращаясь обратно, ворчал про себя:

– Гм! Вот ему *и* наука! Попал дока на доку... Но все-таки мне честь! Скоро сюда станут приезжать первые сановники. Интересно, что там думают наши дамы?

Действительно дамы удивлялись Заглобе, который вырос в их глазах, особенно в глазах Маковецкой, и не успел он показаться, как она воскликнула с жаром:

– Вы превзошли Соломона своим умом!

– Кого, вы говорите, я превзошел? – сказал с радостью Заглоба. – Подождите, скоро увидите и гетманов, и епископов, и сенаторов, так что придется просто отбиваться от них или прятаться за занавеску...

Разговор их был прерван приходом Кетлинга.

– Кетлинг, хочешь повышения? – спросил Заглоба, опьяненный собственным величием.

– Нет, – отвечал печально рыцарь, – мне опять придется уехать.

Заглоба взглянул на него внимательнее.

– Что это ты, словно пришибленный?

– Да вот потому, что уезжаю.

– Куда?

– Я получил письма из Шотландии от моих старых друзей, а также от друзей моего отца.

Мне нужно непременно поехать туда по делам и, может быть, надолго... Грустно мне расставаться с вами, но ничего не поделаешь!

Заглоба вышел на середину комнаты, посмотрел на Маковецкую, а потом по очереди на обеих девушек и спросил:

– Вы слышали? Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

Глава XVI

Хотя Заглоба изумился, услышав об отъезде Кетлинга, однако в уме его не мелькнуло и тени какого-нибудь подозрения; впрочем, легко было подумать, что Карл II припомнил услуги предков Кетлинга и пожелал отблагодарить последнего потомка этого рода. Гораздо более странным могло бы показаться Заглобе, если бы было иначе. Вдобавок Кетлинг показал Заглобе какие-то заморские письма, чем окончательно уверил его.

Этот отъезд поколебал однако все планы старого шляхтича, и поэтому он с беспокойством подумывал о том, что будет дальше. Володыевский мог приехать с минуты на минуту.

«Степной ветер наверняка развеял его грусть, – думал Заглоба, – и он вернется еще большим молодцом, чем уехал, а так как его всегда больше тянуло к Христине, то он тут же сделает ей предложение. А потом? Ну, а потом Христина, конечно, согласится, ибо как же отказать такому кавалеру, притом брату Маковецкой, и бедный, милый „мальчик“ останется ни при чем».

Ззгтюба с упорством старых людей решил женить маленького рыцаря на Езеровской, так что ни доводы Скшетуского, ни его собственное решение, ничто не могло отказаться от этого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.